

ТВОРЧЕСТВО Л.Н.ТОЛСТОГО

Сборник статей

Государственное издательство
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва 1959

ЧЕХОВ И ТОЛСТОЙ

1

Сближение имен двух великих писателей-современников подсказывается самим содержанием и ходом литературного процесса конца XIX — начала XX века. На протяжении почти двадцати пяти лет литературная деятельность Толстого и литературная деятельность Чехова развивались параллельно. За этот период творческие пути их неоднократно сближались и скрещивались. Со времени смерти Щедрина и вплоть до момента, когда молодой Горький занял подобающее ему место в литературе, с голосом «колоссального человека Л. Толстого»¹, «суровым и правдивым голосом, обличавшим всех и все»², мог идти в сравнение по силе звучания лишь голос Чехова. Многочисленные и разнообразные линии соприкосновения обоих писателей — идейные, художественные, биографические — представляют большой интерес.

Но теме «Толстой и Чехов» в ее различных аспектах не повезло в советском литературоведении. Как правило, ее касаются лишь в общих работах и то вскользь.

Десятилетнее личное знакомство Толстого и Чехова, вылившееся с годами в подлинную близость, — значительный факт в жизни каждого из них, мимо которого не может пройти ни научная биография Чехова, ни научная биография Толстого. Сохранилось большое количество высказываний Толстого о Чехове и Чехова о Толстом — высказываний, содержащих ценнейшие и интереснейшие взаимные оценки, характеристики произведений, взглядов, художественной манеры, психологических черт книг

дого. Однако относящиеся сюда богатые материалы (эпистолярные, дневниковые, мемуарные и т. д.) до сих пор не обследованы с должной тщательностью, не подытожены надлежащим образом. У нас нет специальных работ «Толстой о Чехове», «Чехов о Толстом»¹. Остаются невыясненными и некоторые моменты, касающиеся лично биографических связей и взаимоотношений между обоими писателями.

Однако гораздо более важным пробелом является недостаточная изученность творческих связей Толстого и Чехова — вопроса об идейном влиянии Толстого на творчество Чехова, с одной стороны, вопроса об отражении в писаниях Толстого отдельных чеховских образов и произведений — с другой. Несомненный исследовательский интерес представляет не только первая, но и вторая сторона проблемы: достаточно вспомнить послесловие Толстого к «Душечке» и учесть тот факт, что при изучении творческой истории «Живого трупа» невозможно миновать «Дядю Ваню».

Проблема творческих связей Толстого и Чехова включает в себя и вопросы художественного мастерства. Приемы типизации, метод «срывания масок», особая «простота» повествования — в этом и во многом другом обнаруживаются некоторые элементы сходства в художественной манере обоих мастеров слова. Но и как художник Чехов, конечно, шел своими путями: его «простота», например, сильно отличается, в конечном счете, от толстовской «простоты». Не кто иной, как Толстой, ярко охарактеризовал черты художественного новаторства Чехова.

В рамках одной статьи представляется, однако, совершенно невозможным охватить все разнообразные аспекты проблемы «Толстой и Чехов». Мы ограничиваем свою задачу выяснением идейного влияния Толстого на Чехова — истории идейных притяжений Чехова к Толстому и идейных отталкиваний его от Толстого, как они проявились в самом творчестве Чехова. Темы «Толстой о Чехове» (в широком ее понимании) мы здесь не можем касаться. Отдельные высказывания Чехова

¹ Так назвал Толстого А. М. Горький. См. его «Историю русской литературы», ГИХЛ, М. 1939, стр. 257.

² Там же, стр. 295.

¹ Написанное на эту тему П. Сергеевко в книге «Толстой и его современники» (М. 1911) и Н. Апостоловым в книге «Лев Толстой и его спутники» (М. 1928) не может идти в счет — оно в значительной мере устарело.

о Толстом, моменты биографического порядка, вопросы художественного мастерства затрагиваются лишь в той мере, в какой это необходимо для разработки избранной нами темы.

* * *

Творческая встреча Чехова с Толстым произошла в середине 80-х годов — в один из самых печальных периодов XIX века. А. М. Горький так охарактеризовал его в «Заметках о мещанстве»: «Тяжелые серые тучи реакции плыли над страной, гасли яркие звезды надежд, уныние и тоска давили юность, окровавленные руки темной силы снова быстро плели сети рабства»¹. На смену героике революционного народничества пришла теория «малых дел», слабыми и отчаявшимися овладевали настроения обывательской пассивности «примирения с действительностью», отхода от общественных интересов. Однако рассматривать 80-е годы как период сплошного идейного и морального распада было бы все же большой ошибкой. В другом месте Горький писал: «Взгляд на эпоху восьмидесятых годов как на время квиетизма, пессимизма и всяческого уныния несколько преувеличен, мне кажется»². Передовая общественная и научная мысль, передовое художественное творчество эпохи, хоть и испытывая на себе давление и гнет реакции, все же продолжали развиваться. Назвав 80-е годы тюрьмой, Ленин одновременно подчеркнул: «В России не было эпохи, про которую бы до такой степени можно было сказать: «наступила очередь мысли и разума», как про эпоху Александра III»³.

В 80-е годы начался новый этап творчества Толстого. Он пишет «Смерть Ивана Ильича», «Власть тьмы», «Плоды просвещения». В этих и других сочинениях, художественных и публицистических, Толстой выступил как «выразитель тех идей и тех настроений, которые сложились у миллионов русского крестьянства ко времени наступления буржуазной революции в России»⁴. После

перелома в мировоззрении писателя главным содержанием его творчества окончательно становится «беспощадная критика капиталистической эксплуатации, разоблачение правительственных насилий, комедии суда и государственного управления, вскрытие всей глубины противоречий между ростом богатства и завоеваниями цивилизации и ростом нищеты, одичалости и мучений рабочих масс»¹. Однако в сочинениях Толстого 80—90-х годов проявилась не только «накипевшая ненависть», но и «незрелость мечтательности, политической невоспитанности, революционной мягкотелости»² крестьянских масс. Отсюда — проповедь непротивления злу насилием, опрощения, аскетизма — всего того, что составляло «предрасудок» великого писателя.

Противоречия эпохи нашли явное отражение и в развитии творчества Чехова. В середине 80-х годов он был уже автором таких произведений, как «Хамелеон», «Унтер Пришибеев», «Смерть чиновника», «В бане», «Маска», «Толстый и тонкий», «Ванька», «Горе», «Кошмар», «Знакомый мужчина» и т. д. В этих и многих других рассказах уже намечались передовая идейная направленность писателя, органически присущий ему демократизм, глубокий критицизм, отвращение ко всем формам угнетения людей. В замечательном образе унтера Пришибеева Чехов воплотил самые отвратительные черты правительственного режима Победоносцева и Каткова — режима полицейского сыска и деспотического насилия. Метко, зло, остроумно бичует Чехов моральный распад, охвативший часть интеллигенции, обывательские настроения, рабы чувства — трепет перед носителями власти, приспособленчество, карьеризм, подхалимство.

Но в то же время в произведениях и письмах Чехова второй половины 80-х годов настойчиво пробивается тоска по цельному, стройному мировоззрению. «Осмысленная жизнь без определенного мировоззрения — не жизнь, а тягота, ужас»³, — пишет он в ноябре 1888 года А. Суворину. С наибольшей силой страстная тяга к «общей идее» сказалась в «Скучной истории» (1889). Само содержание творчества Чехова середины и конца 80-х годов

¹ М. Горький, Собр. соч. в тридцати томах, Гослитиздат, М. 1953, т. 23, стр. 353.

² Там же, т. 24, стр. 60.

³ В. И. Ленин, Сочинения, т. 10, стр. 230.

⁴ Там же, т. 15, стр. 183.

¹ В. И. Ленин, Сочинения, т. 15, стр. 180.

² Там же, стр. 185.

³ А. П. Чехов, Полн. собр. соч. и писем, т. XIV, Гослитиздат, М. 1949, стр. 242.

показывает, насколько преувеличенными были его самобичевания по поводу «отсутствия» у него мировоззрения. Но взглядам Чехова действительно не хватало строгой последовательности, внутреннего единства и цельности. Особенно нечеткими, расплывчатыми (при всей их несомненной прогрессивности) были в 80-е годы общественно-политические воззрения писателя. С этим следует поставить в связь и тот факт, что, будучи уже выдающимся мастером слова, Чехов вплоть до конца 80-х годов не создает больших литературных полотен, содержащих итоговые, обобщающие характеристики действительности.

К Чехову 80-х годов особенно применима следующая оценка, принадлежащая В. Ермилову: «Мировоззрение Чехова было несомненно прогрессивным, демократическим, но оно было лишено конкретной политической основы, социальной активности, действительности, знания путей к свободе и счастью родины»¹.

В свете всего сказанного становится понятной восприимчивость Чехова не только к сильным, но и к слабым сторонам мировоззрения Толстого.

* * *

В вопросе о творческих связях Чехова с Толстым у нас издавна утверждалась ошибочная концепция, которую пора подвергнуть критике. Согласно этой концепции идейное воздействие Толстого на Чехова состояло в том, что в своих ранних рассказах 80-х годов Чехов отдал обильную дань толстовству, как морально-философскому учению. Однако вскоре Чехов пересмотрел свои позиции и в зрелых произведениях 90-х годов решительно осудил толстовство, выступив против теории непротивления злу насилием, прощения и т. д. Иначе говоря, впад в молодости в «грех толстовства», Чехов затем постепенно изживал его, пока не освободился окончательно от «тлетворного» влияния Толстого.

Впервые этот взгляд был развит А. Дерманом в его книге «Творческий портрет Чехова» (1929). Ставя увле-

чение проповедью Толстого в связь с мнимой «душевной холодностью» Чехова, А. Дерман писал: «Толстовство как таковое, и притом явно увлекающее Чехова, мы находим в его творчестве только во второй половине 80-х годов». В подтверждение автор ссылается на рассказы «В суде», «Хорошие люди», «Нищий», «Встреча», «Казак», «Письмо» (1886—1887). Толстовские мысли о деньгах и богатстве нашли якобы отражение в произведениях конца 80-х годов — «Степь», «Сапожник и нечистая сила», «Пари». Осознание своего расхождения с толстовством проявляется у Чехова, по мнению Дермана, уже в рассказе «Без заглавия» (1888). Но некоторые следы влияния Толстого автор находит еще в «Дузли» (1891). Зато в «Палате № 6» Чехов будто бы «покончил свои расчеты с толстовством». Дальше мы читаем: «В дальнейшем Чехов уже ни разу не ставит толстовскую философию в центре своих тем... и только четыре года спустя возвращается к ней, вернее — к одной из сторон толстовской философии, к вопросу об обязательности для каждого человека физического труда, притом не делая из этого основы произведения («Дом с мезонином» и «Моя жизнь»), и, главное, не давая никакого повода думать, что сам он присоединяется к тому или иному разрешению этого вопроса»².

Схематичность, ненаучность этой концепции бросаются в глаза. На каком основании вопрос о воздействии на Чехова мировоззрения и творчества Толстого подменен вопросом об отношении Чехова к непротивлению злу насилием, прощению и т. д. — то есть к толстовству? Почему А. Дерман, говоря о взглядах Толстого, почти всегда имеет в виду «предрассудок» писателя, а не его великий «разум», слабые и утопические стороны его мировоззрения, а не стороны сильные, прогрессивные, сохраняющие и теперь все свое значение? Неужели Чехов остался совершенно чужд им? И неужели развитие взглядов Чехова шло так прямолинейно и схематично — сначала чуть ли не приобщение к толстовству, а затем, начиная с определенного момента,

¹ «Коммунист», 1954, № 10, стр. 64; статья «Великий русский писатель А. П. Чехов».

² А. Дерман, Творческий портрет Чехова, Изд-во «Мир», М. 1929, стр. 210, 213.

категорическое и бесповоротное осуждение мировоззрения Толстого в целом?

Тем не менее эта концепция не только была воспроизведена в ряде работ о Чехове¹, но прочно вошла в научный обиход, стала традиционной. Она проникла в учебные программы и учебники и по сей день является как бы общепризнанной.

Возьмем, например, статью о Чехове И. Новикова «Человек и художник». И здесь речь идет о воздействии на Чехова только слабых сторон мировоззрения Толстого — его «учения», его «философии». И здесь причастность Чехова к тем или иным взглядам Толстого изображается как идейная «порча» — к счастью, кратковременная: «...И, подпав под некоторое влияние учения Толстого, Чехов постоянно боролся с ним... Непосредственное же влияние взглядов Толстого на творчество Чехова весьма невелико... весь душевный склад самого Чехова, его восприятие жизни никак не вязались с «толстовством»² и т. д.

Заглянем в учебную программу по русской литературе для филологических факультетов университетов. Там в разделе «А. П. Чехов» мы читаем: «Разоблачение (Чеховым. — Ф. Е.) либерально-народнических иллюзий, теории «малых дел», толстовства («В ссылке», «Палата № 6», «Дом с мезонином», «Жена»)»³. Курьезно, что «Жена» и «Дом с мезонином» — рассказы, в которых отчетливо проявилось влияние сильных сторон мировоззрения Толстого на Чехова, трактуются как произведения, направленные якобы против толстовства.

Этот же пункт — с небольшими изменениями — содержится и в учебной программе по русской литературе XIX века для факультетов языка и литературы педагогических институтов⁴.

¹ См., например, А. Дерман, А. П. Чехов. Критико-биографический очерк, М. 1939, стр. 93—109; Юр. Соболев, Чехов, М. 1934, стр. 262—265 и др.

² «Октябрь», 1954, № 7, стр. 153.

³ Программа по истории русской литературы, ч. 3, XIX век (для филологических факультетов государственных университетов), изд-во Московского университета, 1956, стр. 31—32.

⁴ Программа педагогических институтов. Русская литература XIX века (для факультетов русского языка и литературы педагогических институтов), М. 1955, стр. 59.

Раскроем учебник по литературе для 9 класса средней школы. Здесь в главе «Толстовство и теория «малых дел» в изображении Чехова» традиционная «дермановская» точка зрения излагается со всей обстоятельностью: «Чехов на время обращается к толстовству...», «Чехов порвал с толстовством во имя прогресса и культуры...» и т. д.¹ В «Моей жизни» автор усматривает лишь осуждение толстовства, не замечая, сколь многим «обязан» тут Чехов Толстому как «великому критику».

И В. В. Ермилов в своей монографии о Чехове, к сожалению, тоже характеризует идейно-творческие связи Чехова с Толстым как кратковременное увлечение «толстовством», а затем преодоление его, и считает «Моя жизнь» произведением антитолстовским².

В настоящей статье мы попытаемся этой привычной концепции противопоставить другую, сводящуюся в основном к следующему. Идеиное влияние Толстого на Чехова было в целом глубоко положительным, оно во многом обогатило и оплодотворило его творчество. Чехов никогда не был «толстовцем» в узком значении этого слова. И в 80-е годы в творчестве Чехова нашли отражение не только слабые, но и сильные стороны мировоззрения Толстого. В начале 90-х годов Чехов действительно произвел окончательную переоценку «толстовства» как морально-философской доктрины, осудил слабые стороны мировоззрения Толстого и подверг их критике в своих произведениях. Но в то же время как раз в 90-е годы (1892—1896) Чехов оказался особенно восприимчив к сильным сторонам мировоззрения «горячего протестанта, страстного обличителя, великого критика»³, которые во многом способствовали его идейно-

¹ А. А. Зерцанинов, Д. Я. Райкин, Русская литература, учебник для 9 класса средней школы, изд. 16-е, Учпедгиз, 1957, стр. 308—309.

² В. Ермилов, А. П. Чехов. Издание второе, дополненное, «Советский писатель», М. 1954, стр. 262, 268, 293. А. Скафтымов в интересной статье «О повестях Чехова «Палата № 6» и «Моя жизнь» («Ученые записки Саратовского государственного педагогического института», вып. XII, Саратов, 1948) убедительно показывает несостоятельность традиционного взгляда на эти повести. Автор, однако, не ставит своей целью опровержение концепции Дермана в целом. К отдельным положениям этой статьи мы еще вернемся в дальнейшем изложении.

³ В. И. Ленин, Сочинения, т. 16, стр. 295.

творческому росту. В истории идейных связей Чехова и Толстого центральное место принадлежит не мелким чеховским рассказам 80-х годов и даже не «Палате № 6», а «Скудной истории» (1889), «Жене» (1892), «Убийству» (1895), «Дому с мезонином» (1896) и особенно «Моей жизни» (1896) — произведениям, либо вовсе не упомянутым Дерманом, либо неверно им трактуемым.

Наши положения, однако, сразу же наталкиваются на существенную преграду: в защиту общепринятого взгляда обычно выдвигается такой веский аргумент, как развернутое высказывание самого Чехова о своем «толстовстве», якобы целиком этот взгляд подтверждающее.

В письме к Суворину от 27 марта 1894 года Чехов писал: «...толстовская мораль перестала меня трогать, в глубине души я отношусь к ней недружелюбно, и это, конечно, несправедливо. Во мне течет мужицкая кровь, и меня не удивили мужицкими добродетелями. Я с детства уверовал в прогресс... Я любил умных людей, нервность, вежливость, остроумие, а к тому, что люди ковыряли мозоли и что их портянки издавали удушливый запах, я относился так же безразлично, как к тому, что барышни по утрам ходят в папиютокках. Но толстовская философия сильно трогала меня, владела мною лет 6—7, и действовала на меня не основные положения, которые были мне известны и раньше, а толстовская манера выражаться, рассудительность и, вероятно, гипнотизм своего рода. Теперь же во мне что-то протестует; расчетливость и справедливость говорят мне, что в электричестве и паре любви к человеку больше, чем в целомудрии и в воздержании от мяса. Война зло и суд зло, но из этого не следует, что я должен ходить в лаптях и спать на печи вместе с работником и его женой и пр. и пр. Но дело не в этом, не в «за и против», а в том, что так или иначе, а для меня Толстой уже уплыл, его в душе моей нет, и он вышел из меня, сказав: се оставляю дом ваш пуст. Я свободен от постоа. Рассуждения всякие мне надоели... Лихорадящим больным есть не хочется, но чего-то хочется, и они это свое неопределенное желание выражают так: «чего-нибудь кисленького». Так и мне хочется чего-то кисленького. И это не случайно, так как точно такое же настроение я замечаю кругом. Похоже, будто все были влюблены, разлюбили теперь и ищут новых увлечений. Очень возможно и очень по-

хоже на то, что русские люди опять переживут увлечение естественными науками и опять материалистическое движение будет модным. Естественные науки делают теперь чудеса»¹.

Эти важные и интересные высказывания Чехова не могут служить обоснованием традиционной концепции. В их рамках прежде всего никак нельзя втиснуть всю историю идейно-творческих связей Чехова и Толстого, отнюдь не завершившуюся к 1894 году. Верно ли, что с 1894 года (или еще раньше) Толстой навсегда «уплыл» для Чехова, «вышел» из него, и Чехов стал впредь «свободен от постоа»? Конечно, нет. У нас есть весьма веские доказательства того, что и в последующие годы многие (правда, иные, чем раньше) взгляды Толстого «сильно трогали» Чехова. Достаточно помимо самих произведений писателя сослаться на известное письмо его к М. Меншикову от 28 января 1900 года (подробно мы коснемся его дальше, в своем месте), во многих отношениях как бы восполняющее процитированное письмо к Суворину. Письмо к Меншикову не только проникнуто величайшим пиететом к Толстому-человеку и к Толстому-писателю; в нем явственно сквозит сочувствие Толстому — могучему критику и обличителю, солидарность с сильными, активными сторонами его мировоззрения.

Разберемся, далее, в содержании критических высказываний Чехова по адресу Толстого в письме к Суворину. Со своих новых позиций он недвусмысленно осуждает «толстовскую философию». Но что он под ней понимает? Теорию опрощения (и связанную с ней идеализацию крестьянского уклада жизни), аскетические крайности толстовской проповеди («целомудрие»... «воздержание от мяса»), косвенно — взгляды Толстого на роль науки и прогресса (вряд ли правильно понятие — их резко извращали газетно-журнальные писатели 80—90-х годов). Но разве этим исчерпывается мировоззрение Толстого? Речь в письме Чехова идет лишь о том, что относится к «предрассудку» Толстого.

Письмо свидетельствует о пересмотре отношения к «толстовской философии». Но можно ли на основании

¹ А. П. Чехов, Полн. собр. соч. и писем, т. XVI, М. 1949, стр. 132—133.

его заключить, что раньше, «6—7 лет назад», Чехов был безусловным сторонником ее — чуть ли не стопроцентным «толстовцем»? Разумеется, нет. Признание Чехова в своей прежней приверженности к «толстовской философии» («сильно трогала меня, владела мною») обставлено очень внушительными «но»: его и раньше нельзя было «удивить» «мужичьими добродетелями»; он, якобы в отличие от Толстого, «с детства уверовал в прогресс» (в прогресс верил и Толстой, но представление о прогрессе у него было другое) и т. д. и т. д. При этом, оказываясь, «действовали» на Чехова не «основные положения» толстовства как таковые, а нечто иное — довольно неясное и неуловимое: «рассудительность», «гипнотизм своего рода». Заявление Чехова, что «толстовская философия» «владела» им «лет 6—7», приобретает весьма неопределенный смысл. Объективно оно может означать лишь то, что «толстовская философия» очень занимала, сильно интересовала писателя, но отнюдь не то, что Чехов целиком примкнул к ней.

Очень существенно то, как Чехов в письме объясняет пересмотр своих позиций. В конечном счете этот пересмотр оказывается результатом не какой-то определенной аргументации, а чего-то иного («дело... не в «за и против», а в том что так или иначе, а для меня Толстой уже уплыл... и т. д.». В чем же, однако, дело? Убедительный ответ на это дают последние строки цитаты. Дело в общих веяниях эпохи, в охватившем всех стремлении к «чему-то кисленькому». Письмо появилось во время вполне определившегося уже общественно-политического подъема, сменившего полосу реакции 80-х годов, в момент, когда Ленин уже спланировал воедино рабочие кружки в Петербурге, когда в разгаре была борьба Ленина и Плеханова с народниками. Сама жизнь в эти годы отгесняла на задний план «толстовство», «толстовскую философию» и выдвигала вперед сильные, активные стороны мировоззрения Толстого.

Таким образом, обоснованием традиционной концепции высказывания самого Чехова — правильно понятые и взятые в достаточно широкий контекст — служить не могут. Эти высказывания скорее подтверждают нашу точку зрения.

Единственной реальной проверкой наших тезисов может явиться лишь внимательный разбор отдельных про-

изведений Чехова, так или иначе перекликающихся с произведениями Толстого. Но прежде, чем перейти к этому разбору, следует — чтобы не повторяться на каждом шагу в дальнейшем изложении — вкратце остановиться на некоторых общих сторонах занимающей нас проблемы.

На разных этапах своего идейного роста Чехов по-разному относился к взглядам и утверждениям Толстого. Но в двух важных пунктах он всегда расходился с Толстым, начиная с 80-х годов и до конца своей жизни. Мы имеем в виду, с одной стороны, теорию опрощения, с другой — отношение Толстого к религии.

Что касается теории опрощения, то достаточно весомы уже те чеховские оценки, которые содержатся в только что цитированном письме. В отличие от Толстого, Чехов был убежденным сторонником городской жизни, городской культуры. Величайшей клеветой является утверждение (повторяемое теперь кое-кем за рубежом), что Толстой был якобы врагом культуры как таковой. Толстой придавал большое значение той культуре, которая способна не на словах, а на деле улучшить условия труда и быта народных масс. Самым ясным и недвусмысленным образом об этом говорится, например, в «Трех притчах», в «Так что же нам делать?» Но рамки этой подлинной, нужной народу культуры Толстой чрезмерно ограничивал, поскольку критерии для оценки он черпал из условий деревенского быта и взглядов патриархального крестьянства. Чехову эти ограничения были чужды. Но зато он не скоро и не полностью уяснил себе то, что уже давно было ясно Толстому: что многие достижения «культуры верхов» являются мнимыми или служат только целям эксплуатации, что значительные прослойки интеллигенции — носители культуры — по своим стремлениям и интересам чужды и враждебны народу. (Более подробно мы вернемся к этому при анализе «Дома с мезонином» и «Моей жизни».)

Чехов с ранних лет был человеком неверующим. Об этом свидетельствуют и его собственные высказывания и воспоминания современников. В 1888 году Чехов признается Д. В. Григоровичу в отсутствии у него «религиозного мировоззрения»¹. В 1892 году он пишет

¹ А. П. Чехов, Полн. собр. соч. и писем, т. XIV, М. 1949, стр. 183.

А. С. Суворину о том, что «бога нет»¹. «Я давно растерял свою веру и только с недоумением поглядываю на всякого интеллигентного верующего», — заявляет он в письме к С. Дятилеву² (1903). В письме Чехова к тому же адресату от 30 декабря 1902 года мы читаем: «Теперьшняя культура — это начало работы, а религиозное движение... есть пережиток, уже почти конец того, что отжило или отживает»³. Сетования Толстого на нерелигиозность Чехова нашли отражение в его дневниках и письмах, а также в «Яснополянских записках» Д. П. Маковицкого, «Очерках былого» С. Л. Толстого⁴ и т. д. Когда Толстой в 1897 году посетил в больнице Чехова, между ними зашел разговор о бессмертии. Чехов так передает его содержание в письме к М. Меншикову от 16 апреля 1897 года: «...Говорили о бессмертии. Он (Толстой. — Ф. Е.) признает бессмертие в кантовском виде; полагает, что все мы (люди и животные) будем жить в начале (разум, любовь), сущность и цель которого для нас составляют тайну. Мне же это начало или сила представляется в виде бесформенной студенистой массы, мое я — моя индивидуальность, мое сознание солются с этой массой, — такое бессмертие мне не нужно, я не понимаю его, и Лев Николаевич удивлялся, что я не понимаю»⁵. Даже свободное от религиозной мистики, чисто деистическое представление о бессмертии не удовлетворяет Чехова. Автора «Палаты № 6» в вопросе о бессмертии волновала другая дерзновенная мысль: устами Громова он выразил надежду, что бессмертие «рано или поздно изобретет великий человеческий ум»⁶.

Как мы в дальнейшем убедимся, многообразные идейные притяжения Чехова к Толстому сочетались (порой сливались) с притяжениями художественными. У Чехова находят прямое отражение многие толстовские коллизии, образы, сюжетные ситуации; Чехову близок толстовский метод «срывания масок». В связи с этим

уместно хотя бы вкратце напомнить, сколь высоко ставил Чехов Толстого как писателя-художника. «Толстой, я думаю, никогда не постареет. Язык устареет, но он все будет молод», — писал Чехов Суворину 13 марта 1893 года¹. Величайшим восхищением проникнуты отзывы Чехова о творениях Толстого. «Каждую ночь просыпаюсь и читаю «Войну и мир». Читаешь с таким любопытством и с таким наивным удивлением, как будто раньше не читал. Замечательно хорошо»². Бунин приводит в своих воспоминаниях такой отзыв Чехова о Толстом как авторе «Анны Карениной»: «Вы только подумайте, ведь это он написал, что она (Анна Каренина. — Ф. Е.) чувствовала, что она видела, как у нее блещат глаза в темноте. Seriously, я его боюсь»³. О «Воскресении» Чехов писал Горькому: «Все, кроме отношений Нехлюдова к Катюше, довольно неясных и сочиненных, — все поразило меня в этом романе силой и богатством, и широтой»⁴.

2

«Толстовская струя» в творчестве Чехова отчетливо пробивается наружу в 1886 году. Эта датировка не случайна. В 1886 году интерес к Толстому резко возрос и споры вокруг него в печати разгорелись с новой силой: в апреле этого года вышел двенадцатый том «Сочинений гр. Л. Н. Толстого», в котором впервые появились «Смерть Ивана Ильича», «Мысли, вызванные переписью» и некоторые другие произведения. Широкое распространение (незаконное) получил трактат Толстого «Так что же нам делать?», законченный в начале этого года и запрещенный цензурой.

В конце 1886 — начале 1887 года появляются два рассказа Чехова, которые обычно считаются доказательством солидарности писателя с теорией «непротивления злу насилием»: «Сестра» (впоследствии переименована в «Хорошие люди») и «Встреча». Присмотримся к этим произведениям.

¹ А. П. Чехов, Полн. собр. соч. и писем, т. XVI, М. 1949, стр. 29.

² Там же, т. XV, стр. 259.

³ Цитируется по кн. Юр. Соболева «Чехов», М. 1934, стр. 265.

⁴ А. П. Чехов, Полн. собр. соч. и писем, т. XVIII, М. 1949, стр. 336.

¹ А. П. Чехов, Полн. собр. соч. и писем, т. XV, М. 1949, стр. 446.

² Там же, т. XX, стр. 119.

³ Там же, т. XIX, стр. 407.

⁴ Д. П. Маковицкий, Яснополянские записки, М. 1923; С. Л. Толстой, Очерки былого, изд. 2-е, Гослитиздат, 1956, стр. 207.

⁵ А. П. Чехов, Полн. собр. соч. и писем, т. XVII, М. 1949, стр. 64.

⁶ Там же, т. VIII, стр. 132.

В «Сестре» два персонажа: литературный критик Владимир Семенович Лядовский, человек честный, но ограниченный и самодовольный — либеральный писак, сочиняющий никому не нужные фельетоны и статьи, и его сестра Вера Семеновна. Как натура более глубокая, она вскоре начинает понимать никчемность занятий брата. Мелкотравчатому, рутинному либерализму Лядовского она в спорах противопоставляет теорию «непротivления злу насилем» как новое слово, заслуживающее, во всяком случае, серьезного изучения. Вера Семеновна все более отдалается от брата, начинает выполиять сама для себя всю черную работу и в конце концов уезжает в провинцию прививать оспу.

Слов нет, Вера Семеновна выглядит более привлекательно, чем ее брат. Но это еще не дает оснований считать автора рассказа поборником «непротivления злу насилем». В обрисовке Владимира Лядовского, как признает и Дерман, найдла отражение всегда присущая Чехову антипатия к самодовольным рутинерам-пошлякам. Что же касается «непротivления», то и Вера Семеновна не представлена уверовавшей в него безоговорочно и до конца. «Для меня вопрос уже отчасти решен», — заявляет она. (Подчеркнуто мною. — Ф. Е.) От брата, написавшего по поводу новой теории хлесткий фельетон, она требует не принятия, а только серьезного, вдумчивого разбора. Вера Семеновна призывает «бросить эту фельетонную манеру, а отнестись к вопросу строго научно, с серьезной эрудицией»¹. По ее мнению, нужно «успокоить людей, доказать им, что непротivление — нелепость или благо?» Далее в уста «толстовки» Веры Семеновны (врача по образованию) Чехов вкладывает такое суждение: «Один естественные науки могут дать тебе ключ к разгадке! Из них ты узнаешь, например, что инстинкт самосохранения, без которого невозможно органическая жизнь, не мирится с непротivлением злу, как огонь с водой...»² В этой фразе сказался Чехов-естественник и материалист, внутренне отталкивавшийся от теории непротivления злу насилем даже в период,

когда его очень привлекала моральная сторона философии «толстовства».

В своей авторской речи Чехов оценивает антитолстовский фельетон Лядовского так: «...Ошибка в том, что он «непротivление злу» признавал абсурдом или не понимал его, а в том, что он не подумал о своей право-способности выступать судьей в решении этого тем-ного вопроса... Странно, в общежитии не считается бес-честным, если люди неподготовленные, непосвященные, не имеющие на то научного и нравственного роста, бер-утся хозяйничать в той области мысли, в которой они могут быть только гостями»¹.

Нам представляется несомненным, что в рассказе «Сестра» Чехов вовсе не отстаивает безоговорочно «непротivление злу насилем», а лишь критикует тех писа-ков 80-х годов из мелкой прессы (о Лядовском сказано: «у газеты, в которой он работает, мало подписчиков и нет солидной репутации»), которые пытались одним рас-черком пера расправиться с Толстым. В авторские наме-рения Чехова входило не решение вопроса, а лишь углубленная постановка его.

Содержание рассказа «Встреча» таково. У Ефрема Денисова — «божьего человека», посланного миром со-бирать пожертвования на постройку церкви, случайный попутчик — бродяга Кузьма, недавно выпущенный из тюрьмы, ночью похищает деньги и отправляется с ними в трактир. Ефрем, обнаружив кражу и поняв, кто вор, не обращается с жалобой к властям, не грозит Кузьме репрессиями, а лишь заявляет ему, что он «бога обидел», что «ужо бог рассудит». Странное поведение Ефрема оказывает столь сильное воздействие на неуравновешен-ного Кузьму, что тот не только возвращает непротитый остаток денег, но молит Ефрема о прощении и готов любыми средствами загладить свой грех: «Он почувство-вал себя одиноким, беспомощным, брошенным на про-извол страшного, гневного бога...»² Однако религиозно-нравственное «просветление» Кузьмы оказывается мимолетным, мнимым. Успокоившись после нескольких

¹ Здесь и далее рассказ «Сестра» цитируется по первоначальной редакции. См. «Новое время», 1886, 22 ноября, стр. 2.

² Там же. (Подчеркнуто мною. — Ф. Е.)

¹ «Новое время», 1886, 22 ноября, стр. 2. (Подчеркнуто мною — Ф. Е.)

² Рассказ «Встреча» цитируется по первоначальной редакции. См. «Новое время», 1887, 18 марта, стр. 2—3.

сочувственных слов Ефрема, он снова начинает вести себя непристойно, жмет и хвастает и в следующей деревне вновь отправляется в кабаки.

Рассказ этот, в котором «непротivление злу насилем» преломлено уже не в отвлеченных рассуждениях, а в самой сюжетной канве, производит под пером Чехова странное впечатление. Если оставить в стороне финал, «Встреча» может быть принята за примитивную религиозно-нравственную притчу на тему о разумности и спасительности непротivления злу насилем. Таковой ее и считает Дерман. Но дешевая тенденциозность была всегда чужда Чехову, особенно же в 80-е годы, когда он полагал, что задача писателя не доказывать, не решать большие мировоззренческие проблемы, а лишь показывать явления жизни, быть их «беспристрастным свидетелем». С другой стороны, религиозный пафос, пронизывающий «Встречу», начиная с появления благообразной фигуры «божьего человека» Ефрема и кончая сценой покаяния Кузьмы, глубоко чужд Чехову — убежденному атеисту. Каков же смысл чеховского произведения? Чтобы ответить на этот вопрос, достаточно установить жанровую природу «Встречи». Это — не назидательная религиозная притча, а психологическо-бытовой очерк из народной жизни — такого же рода, как, например, «Художество» или «Ведьма». В рассказе Чехов отнюдь не солидаризуется со своими персонажами, он лишь показывает, как при некоторых условиях в религиозной крестьянской среде может возникнуть и оказать сильное воздействие «непротivленческое» поведение. Не случайно в финале обнаруживается, что вопреки догме «толстовства» никакого перелома в душе Кузьмы не происходит: покаянные настроения столь же быстро оставляют его, сколь быстро они первоначально овладели им.

Как и «Сестра», «Встреча» может свидетельствовать не о солидарности Чехова с теорией непротivления злу насилем, а только о живом интересе к ней. «Непротivление» не «владело» Чеховым, а лишь сильно занимало, «трогало» его.

Далее в традиционном списке «толстовских» рассказов Чехова 80-х годов фигурирует несколько произведений, отразивших помимо «непротivления злу насилем» другие стороны морального учения Толстого —

проповедь деятельной любви к людям, сострадания и всепрощения. Сюда относятся рассказы «Казак», «Ничий» и «Письмо».

Рассказ «Казак», написанный непосредственно после «Встречи» (напечатан в апреле 1887 года), производит такое же обманчивое впечатление примитивной религиозной притчи. Арендатор хутора Максим Торчаков, возвращаясь в пасхальное утро из церкви с освященным куличом, отказывает в куске кулича случайному встречному — больному, бездомному казаку, так как жена Торчакова не позволяет резать кулич до разговенья. Вскоре Торчакова начинают доимать угрызения совести. Он пытается отыскать казака, но его и след простыл. Торчакова мучает мысль: «а что, ежели это бог нас испытать хотел и ангела или святого какого-нибудь в виде казака нам навстречу послал»¹. Но он не встречает сочувствия у жены. Между ними происходит ссора, Торчаков напиивается пьяным. С этого дня начинается полное расстройство и в семейной жизни Торчакова, и в его хозяйстве. «Все свои напасти Максим объяснял тем, что... бог прогневался на него за больного казака». Разве не очевидно, что и здесь Чехов ставил своей задачей объективное воспроизведение религиозных переживаний человека из народа, а не проповедь «всеобщей любви», как таковую, стоявшую в центре, например, народных рассказов Толстого?

В «Ничьем» и «Письме» тема любви и сострадания к людям преломлена уже в ином, не религиозном плане. В «Ничьем» (1887) подлинная деятельная любовь к человеку противопоставлена барскому, холодно-фарисейскому «сочувствию» к нему. Присяжный поверенный Скворцов считает себя образцом добродетели, любит подавать милостыню. Он полагает, что благодетельствовал бродягу Лушкова тем, что высокомерно наставлял его «исправиться», несколько раз предоставил у себя дома грошовую работу по колке дров, дал рекомендательное письмо. Но в действительности спасла Лушкова, помогла ему излечиться от пьянства и выйти на дорогу честного труда кухарка Скворцова, Ольга: она по-настоящему, от души пожалела бродягу, даже

¹ Рассказ «Казак» цитируется по первопечатной редакции. См. «Петербургская газета», 1887, 13 апреля, стр. 3.

колола за него дрова, и этим способствовала моральному перерождению его.

Рассказ «Письмо» (1887) изображает быт духовенства. В этом рассказе мораль жалости и снисхождения к людям торжествует над моралью кары и отмщения. Носителем первой является незранный и пьяньский, по сердечный о. Анастасий, носителем второй — «добродетельный», но суровый и жестокий о. Федор¹.

Мы почти исчерпали тот круг произведений, в которых обычно усматривается дань Чехова «толстовской философии», «толстовской морали». С интересующей нас точки зрения очень важен рассказ «В суде», но мы коснемся его в дальнейшем изложении. Что же касается рассказов «Пари», «Сапожник и нечистая сила» и образа Соломона в «Степи», то заключенная в них идея пренебрежения богатством и жизненными благами выражена в столь общей форме, что в этих произведениях невозможно усмотреть «толстовство».

Совершенно резонно указание Дермана на то, что толстовских положительных персонажей напоминают образы дьякона и доктора Самойленко в «Дуэли» (1891). Особенно справедливо это в отношении второго — человека «непосредственного чувства», доброго, скромного и простого.

Этим и исчерпывается, с традиционной точки зрения, влияние Толстого на Чехова. До чего односторонне и искаженно она представляет действительное положение вещей — даже в отношении 80-х годов! С нашей точки зрения, в 80-е годы наиболее важным и значительным примером толстовского идейно-творческого воздействия на Чехова может служить «Скучная история». Но если даже ограничиться сферой «толстовской морали», как это обычно делают, то и в этом случае можно в противо-

¹ В этот ряд чеховских произведений следует включить также рассказ «День за городом» (1886). Здесь речь идет о деревенском сапожнике Терентии, который бережно, заботливо пестует двух нищих и бездомных сироток, относясь к ним с любовью и вниманием родной матери. Рассказ кое-чем напоминает «Где любовь, там и бог» Толстого. Но иной колорит придает ему такая деталь, как пристрастие Терентия к вину, и финал — не толстовский, а чисто чеховский: «...Такую любовь (как любовь Терентия к детям. — Ф. Е.) не видит никто. Видит ее разве одна только луна, которая плывет по небу и ласково, сквозь дырявую стреху, заглядывает в заброшенный сарай...» (Чехов, т. V, стр. 312).

вес «Сестре», «Казаку» и «Письму», вобравшим в себя кое-что от «предрассудка» Толстого, назвать произведения и образы Чехова, в которых сказалось благотворное влияние сильных сторон мировоззрения «великого критика».

Мораль Толстого — это не только проповедь христианской любви, примирения и всепрощения. Она имеет и другой, активный аспект: изобличение всех видов несправедливости и насилия, «замечательно сильный, непосредственный и искренний протест против общественной лжи и фальши»¹, столь ярко проявившийся и в «Анне Карениной», и в «Смерти Ивана Ильича», и особенно в «Воскресении».

К этой стороне толстовского морального учения Чехов не мог не быть очень восприимчив. Об этом позволяют судить собственные высказывания писателя. В известном письме к Плещееву от 4 октября 1888 года Чехов резко осуждает «фарисейство, тупоумие, произвол» и заявляет: «Я ненавижу ложь и насилие во всех их видах»². Под его пером это не общая фраза, а своеобразная платформа, особое «направление», противопоставляемое им иным идеологическим и политическим течениям того времени. Через три дня Чехов пишет тому же адресату по поводу рассказа «Именины»: «Неужели и в последнем рассказе не видно «направления»?.. Но разве в рассказе от начала до конца я не протестую против лжи? Разве это не направление? Нет? Ну, так значит, я не умею кусаться...»³.

Это чеховское «направление» — ненависть к лжи, фарисейству, насилию — совпадает во многом с активной, обличительной стороной толстовской морали. Отсюда — явно толстовский колорит ряда произведений и образов Чехова, критикующих общественную фальшь, лицемерие, произвол. Сошлемся на наличие «кареинского типа» у Чехова, на рассказ «Именины», на группу рассказов о суде и группу рассказов о детях.

Кульминационным воплощением типа фарисея, внешне «добродетельного», любящего высокие слова, но бездушного и эгоистичного, явился у Толстого мону-

¹ В. И. Ленин, Сочинения, т. 15, стр. 180.

² А. П. Чехов, Полн. собр. соч. и писем, т. XIV, М. 1949, стр. 177.

³ Там же, стр. 181.

менгальный образ Каренина. Чехов, судя по его признаниям Плещееву, ненавидел фарисейство не меньше Толстого. Как показывают произведения Чехова, он людям подобного склада противопоставлял иных — пусть ничем не замечательных и даже небезупречных, но скромных и сердечных. Толстовский метод оценки людей по принципу «числитель — знаменатель», вероятно, встретил бы полное сочувствие у Чехова. Тип фарисея — каренинский тип — проходит в разных вариациях через ряд произведений Чехова не только 80-х, но и 90-х годов. К числу их относятся и Скворцов из «Нищего» и о. Федор из «Письма» (см. выше). В 1886 году писатель посвящает этому образу психологический этюд — рассказ «Необыкновенный». «Герой» его, чиновник Кирьяков — в морально-психологическом отношении — как бы уменьшенная копия Каренина. Это человек солидный и положительный, «с красивым, строгим лицом» и безукоризненными правилами поведения. Он честен, справедлив, не делает ничего дурного. И несмотря на это, «родня разошлась с ним... знакомых нет, жена и дети вечно напряжены от страха за каждый свой шаг», выражение лица у «необыкновенного» — «бесстрастное, деревянное», голос — «мерный, ровный». Его холодная строгость, бездушие, привычка читать всем моральные проповеди наводят тоску и ужас на окружающих.

Те же основные черты характеризуют высокомерного барина-аристократа Асорина из повести «Жена» (1892). «Вы превосходно знаете законы, очень честны и справедливы, уважаете брак и семейные основы, а из всего этого вышло то, что за всю свою жизнь вы не сделали ни одного доброго дела, все вас ненавидят, со всеми вы в ссоре»¹, — говорит ему жена.

В этом ряду образов следует упомянуть и о чопорном, жестоком Полозневе — отце из «Моей жизни» (1896). Он высокопарно разглагольствует об «идеалах», дворянских «традициях» и т. д. — и в то же время проявляет нечеловеческое бездушие к собственным детям.

Небезынтересно, что в некоторых из перечисленных произведений человеку каренинского типа противопоставит его молодая жена, страдающая от тяжелого характера

мужа. Как и у Толстого, у Чехова фарисейство из индивидуальной черты перерастает большей частью в черту общественную, характеризующую те или иные прослойки господствующих классов. Особенно показателен в этом отношении образ Асорина («Жена»), к которому мы еще вернемся в дальнейшем изложении.

Узаконенная обычаями и «приличиями» ложь и фальшь в повседневном обиходе людей из привилегированной верхушки — такова тема «Именин» (1888), — напомним процитированное нами выше письмо Чехова Плещееву от 7—8 октября 1888 года. Продолжая традиции Толстого («Войны и мира», «Анны Карениной», «Смерти Ивана Ильича»), Чехов показывает, как внешне «благообразная» и «красивая» жизнь верхов извращает и уродует подлинно человеческое, естественное в отношениях между людьми. Героя повести Петра Дмитриевича и его жену Ольгу Михайловну связывает глубокая взаимная любовь. Но в то же время их повседневная жизнь опутана сетью привычной мелкой лжи перед собой и окружающими. Особенно резко проявляется это в день именин Петра Дмитриевича, когда к ним съезжается много гостей. Избалованный постоянным успехом у женщин, Петр Дмитриевич весь день домается и позирует перед дамами, щеголяет напускным консерватизмом, поверяет знакомым свои тайные тревоги и т. д., совершенно не задумываясь о жене, о том, что она на восьмом месяце беременности. Ольге Михайловне, утомленной обязанностями хозяйки, гости глубоко антипатичны: «все, казалось ей, бездарны, бледны, недалеко, узки, фальшивы, бессердечны...»¹ Но ей приходится лгать и притворяться — улыбаться, говорить комплименты и т. д.

Напряженная ситуация разрешается после отъезда гостей сначала ссорой между супругами, а затем преждевременными родами, во время которых гибнет ребенок. «Оля!.. ничего мне не нужно! Зачем мы не берегли нашего ребенка!»² — горестно восклицает в финале Петр Дмитриевич. Мелкое, ложное, напускное, зажавшее такое большое место в жизни супругов, лишило их самого дорогого — ребенка.

¹ А. П. Чехов, Полн. собр. соч. и писем, т. XIV, М. 1949, стр. 34.

¹ А. П. Чехов, Полн. собр. соч. и писем, т. VII, стр. 158.

² Там же, стр. 171—172.

«Толстовская» тенденция повести была отмечена современной критикой. Р. Д. (Дистерло) писал в «Неделе» (1889, № 1): «Относительно г. Чехова влияния графа Толстого нельзя отрицать. Совершенно в духе и в стиле графа Толстого написан последний рассказ г. Чехова — «Именины». Здесь жизнь русского интеллигента, помещика и земского деятеля рассматривается... исключительно с точки зрения правды. В изображении автора жизнь эта представляется целиком наполненной ненужной ложью перед собой и людьми. По тону рассказа чрезвычайно напоминает «Смерть Ивана Ильича». Оба рассказа одинаково вызывают отвращение к изображаемой жизни...»

А. Плещеев усматривал нечто толстовское в некоторых мелких деталях произведения. В письме к Чехову от 6 октября 1888 года он указывал, что «разговор Ольги Мих. с бабами о родах и та подробность, что затылок мужа вдруг бросился ей в глаза, оказывается подражанием «Анне Карениной», где Долли также разговаривает в подобном положении с бабами и где Анна вдруг замечает уродливые уши у мужа»¹.

Совпадение отдельных деталей, впрочем, не имеет значения. С интересующей нас точки зрения, более существенно следующее свидетельство С. Семенова: «Когда началась серия интеллигентных изданий «Посредника», материал для которого указывал Лев Николаевич, то в первую очередь были поставлены два рассказа Чехова — «Жена» и «Именины»². «Именины» были изданы «Посредником» в 1893 году.

Перечисляя в цитированном ранее письме к Суворину от 27/III 1894 года совпадения и расхождения своих взглядов с воззрениями Толстого, Чехов констатирует: «суд — зло», — отмечая свое единомыслие в этом пункте с Толстым. Враг «лжи и насилия во всех их видах», Чехов не мог не осуждать судебный произвол, процветавший в дореволюционной России, всю злоеющую машину царской юстиции. В ряде рассказов 80-х годов Чехов выступает против случайности и несправедливости судебных решений, против бездушно-бюрократического характера самого судебного процесса,

превращающегося в прямое издевательство над подсудимыми. Более того, совершенно в духе Толстого, Чехов противопоставляет в ряде случаев мертвой букве юридических норм и судебных приговоров — законной лжи, узаконенному насилию — непосредственное правосознание обыкновенных, средних людей, основанное на этических оценках и потому несравненно более близкое к действительной справедливости, к подлинным нормам человеческого поведения.

В основу своей критики Чехов в произведениях, о которых сейчас идет речь, отнюдь не кладет теории «непротивления злу насилием». С другой стороны, его критика уже, ограниченнее толстовской. Он не доходит до толстовского отрицания всего государственного аппарата царизма — до разоблачения «правительственных насилий, комедии суда и государственного управления»¹ в целом. Но преемственную связь чеховской критики суда с взглядами Толстого — как они выразились в его социально-философских сочинениях, в «Смерти Ивана Ильича», позднее в «Воскресении» — отрицать невозможно.

Обратимся к рассказу Чехова «Темнота» (1887). Рабочий текстильщик просит врача земской больницы отпустить домой временно содержащегося в арестантской палате брата его, кузнеца, приговоренного к трем годам заключения. Просьба эта нелепа, невыполнима: врач не имеет права выпустить арестованного. Но по существу, если подойти к делу не с точки зрения юридических норм, а исходя из требований простой человеческой морали, проситель прав в своем неприятии судебного решения, в своем стремлении добиться возвращения брата домой. Осужденный — главный кормилец всей семьи, а совершенное им в пьяном виде правонарушение, скорее смахивающее на озорство, никак не соответствует суровости приговора. Суд отнесся к своей задаче формально, но неспорченное правосознание человека из народа отказывается видеть в кузнеце Васье настоящего преступника. Однако обращения просителя и отца его в разные инстанции остаются безрезультатными: царская юстиция не отдаст своих жертв.

¹ А. П. Чехов, Полн. собр. соч. и писем, т. VII, стр. 543, 544.

² С. Т. Семенов, Воспоминания о Льве Николаевиче Толстом, СПб. 1912, стр. 71.

¹ В. И. Ленин, Сочинения, т. 15, стр. 180.

Дореволюционный судебный процесс нашел замечательное отражение и в рассказе Чехова «В суде» (1886). Судьбы людей решаются судом в обстановке казарменного уныния, скуки и полнейшего безразличия: «Пасмурные окна, стены, голос секретаря, поза прокурора — все это было пропитано канцелярским равнодушием и дышало холодом, точно убийца составлял простую канцелярскую принадлежность или судили его не живые люди, а какая-то невидимая, бог знает кем заведенная машина... Именно в этом-то машинном бесстрашии и кроется весь ужас и вся безвыходность его положения...»¹ Предварительное следствие по делу крестьянина Харламова, обвиняемого в убийстве жены, велось явно небрежно. Членов суда, прокурора, защитника совершенно не интересует вопрос о виновности подсудимого, всех их занимают мелкие посторонние мысли. В ходе судебного следствия внезапно выясняются ранее неизвестные драматические обстоятельства, проливающие на дело совершенно новый свет. Но это мало трогает тех, кто решает судьбу обвиняемого. Раз пущенная в ход, машина судопроизводства бежалостно раздавит Харламова, как она уже раздавила в этот день нескольких других подсудимых.

Вполне естественно, что и «Темнота» и «В суде» были включены Толстым в список особенно ценных им произведений Чехова — его рассказов «I сорта»².

К теме судебного насилия, ломающего человеческую жизнь, Чехов возвращается в рассказе «Беда» (1887)³.

¹ А. П. Чехов, Полн. собр. соч. и писем, т. V, М. 1946, стр. 193.
² Д. П. Маковицкий в своих «Яснополянских записках» (вып. II, стр. 30, изд-во «Задруга», М. 1923) приводит в записи от 6 февраля 1905 г. слова Толстого: «У меня выписаны названия 30 хороших рассказов Чехова...» Далее автор пишет: «Вот этот список рассказов Чехова, отмеченных Л. Н.: I сорта: Детвора, Хористка, Драма, Дома, Тоска, Беглец, В суде, Ванька, Дамы, Злоумышленник, Мальчики, Темнота, Спать хочется, Супруга, Душечка.

II сорта: Беззаконие, Горе, Ведьма, Верочка, На чужбине, Кухарка женится, Канитель, Переполох, Ну, публика, Маска, Женское счастье, Нервы, Свадьба, Беззащитное существо, Бабы. Список этот составлен не из всех рассказов Чехова». Список этот, не включающий более крупных произведений (некоторые из них, как мы увидим дальше, Толстой очень ценил), в ряде случаев способствует распознаванию «толстовского» у Чехова, хотя, конечно, главным критерием служить не может.

³ Не смешивать с одноименной «Бедой» 1886 г., написанной на другую тему.

Как и в «Темноте», здесь показано столкновение непосредственного правосознания обыкновенного человека, отказывающегося признавать преступлением в моральном смысле свои совершенные без злого умысла проступки — с силами формальной юстиции, с неумолимой буквой закона. И здесь буква закона торжествует.

Если судебная камера и ее деятели воплощают в рассказах Чехова ложь и насилие, то на противоположном полюсе у него оказывается детская комната и те, кто там живет: здесь все проникнуто непосредственностью и чистотой. Простое и ясное детское восприятие мира, ничем не замутненное моральное сознание детей Чехов — как и Толстой — противопоставляет извращенным понятиям взрослых, царящим среди них несправедливости и фальши. Восприняв взгляды Толстого на душу ребенка, Чехов явился его законным преемником и продолжателем в изображении детской психологии. Читая чеховские рассказы о детях, нельзя не вспомнить Толстого, особенно «Детство», «Войну и мир» и «Анну Каренину».

Наиболее значительным в этом плане представляется рассказ «Дома» (1887). От маленького героя его Сережи протягиваются прямые нити к Сереже Каренину.

Прокурор Быковский, вернувшись домой из суда, узнает, что его семилетний Сережа курит, доставая табак в письменном столе отца. Сухие моральные сентенции гувернантки не оказывают на мальчика никакого действия. Прокурор, принадлежащий к числу «людей, обязанных по целым часам и даже дням думать казенно, в одном направлении», у себя дома отдается совершенно иным — «вольным, домашним мыслям» и — почти по-толстовски — раздумывает о трудности стоящей сейчас перед ним воспитательной задачи: «Как еще мало осмысленной правды и уверенности даже в таких ответственных, страшных по результатам деятельностях, как педагогическая, юридическая...»¹

Свое внушение сыну Быковский начинает с попытки пристыдить его за нарушение права собственности: он взял не принадлежащий ему табак. Но в духовном мире Сережи понятие о «своем» и «чужом» занимает второстепенное место. Мальчик плохо понимает и не

¹ А. П. Чехов, Полн. собр. соч. и писем, т. VI, М. 1946, стр. 90.

слушает отца. Курящий может заболеть чахоткой и скоро умереть, — убеждает дальше отец сына. Но и этот отвлеченный логический аргумент не производит на него никакого впечатления. Быковскому «казалось странным и смешным, что он, опытный правовед, полжизни упражнявшийся во всякого рода пресечениях, предупреждениях и наказаниях, решительно терялся и не знал, что сказать мальчику»¹. Между домашним детским миром Сережи и «казенным», «прокурорским» миром его отца — целая пропасть. Первый явственно противопоставляется второму.

Но вот отец рассказывает Сереже поэтическую сказку. У старого царя был чудесный дворец и замечательный, прекрасный сад. Маленький сын царя курил. От курения царевич заболел и умер, старый царь остался одиноким и беспомощным. Неприятели воспользовались этим — убили старого царя, разрушили дворец, уничтожили сад... Сережа потрясен услышанным. Он обещает никогда больше не курить.

Самым действенным средством воспитательного воздействия у Чехова, как и у Толстого, оказывается апелляция не к логике и отвлеченной морали, а к любви и красоте, составляющим главное в душе ребенка.

Вспомним отношения Сережи Каренина к отцу, матери, Капитонычу. Вспомним описание урока в гл. XXVII пятой части «Анны Карениной», в которой показано, как Сережа «без ключа любви никого не пускал в свою душу». Чеховский рассказ направлен одновременно и против «казенной» деятельности отца Сережи, против всей сферы судебно-прокурорских «пресечений, предупреждений, наказаний». Вполне естественно, что Толстой причислил рассказ «Дома» к наиболее понравившимся ему произведениям Чехова.

В рассказе «Житейская мелочь» (1886) наивная доверчивость и чистота ребенка противопоставлены фарисейству и лжи взрослых. Беляев — любовник матери Алеши — из самых мелких, эгоистических побуждений выдает заветную тайну, доверенную ему Алешей под честное слово. Алеша «первый раз в жизни лицом к лицу так грубо столкнулся с ложью; ранее же он не знал,

что на этом свете... существует многое, чему нет названия на детском языке»¹.

Тем же духом проникнуты почти все рассказы Чехова о детях, и не случаен тот факт, что в толстовских списках № 1 и № 2 фигурируют, кроме рассказа «Дома», еще «Кухарка женится», «Мальчики», «Ванька», «Беглец», «Детвора».

3

Среди произведений Чехова 80-х годов, отмеченных печатью толстовского влияния, особое — наиболее значительное — место занимает «Скучная история» (1889).

Современники сразу же поставили «Скучную историю» в связь с вышедшей тремя годами раньше «Смертью Ивана Ильича». Об этом имеется авторитетнейшее свидетельство А. М. Горького. В посвящем автобиографический характер и приуроченном к 1889 году («...мне 21 год...») рассказе «Вечер у Шамова» гости, среди которых находится и молодой Горький, обмениваются следующими репликами: «Все эти «скучные истории» современных писателей вызваны «Смертью Ивана Ильича». — «Совершенно верно!»².

На идейно-художественную зависимость чеховской повести от толстовской настойчиво указывала и критика — без различия направлений — в первых же своих откликах.

Аристархов (А. Введенский) писал в либеральных «Русских ведомостях» (от 4 декабря 1889 г., № 335): «Автор, очевидно, писал ее («Скучную историю». — Ф. Е.) под подавляющим влиянием «Смерти Ивана Ильича» Л. Н. Толстого, не мог отделаться ни от формы, ни даже от содержания этого последнего произведения».

Реакционный критик Николаев (Говоруха-Отрок), встретивший «Скучную историю» в штыки («Московские ведомости» от 14 декабря 1889 г., № 345), вменял Чехову в главную вину то, что якобы «весь его рассказ является бессмысленным подражанием этому

¹ А. П. Чехов, Полн. собр. соч. и писем, т. VI, М. 1946, стр. 94.

¹ А. П. Чехов, Полн. собр. соч. и писем, т. V, стр. 176.

² М. Горький, Собр. соч. в тридцати томах, т. II, стр. 243.

произведению («Смерти Ивана Ильича». — Ф. Е.) и манере Толстого вообще».

Нововременец В. Буренин, извративший смысл чеховской повести, в основу своей статьи («Новое время» от 10 ноября 1899 г.) положил сравнение обоих произведений.

В № 4 либерально-народнического «Русского богаста» за 1890 год В. Струнин в статье «Выдающийся литературный тип» пространно доказывал, что толстовский Иван Ильич и чеховский Николай Степанович — смежные воплощения одного и того же общественно-литературного типа.

Недооценив «Скучную историю» вообще, современная Чехову критика не могла понять и природы связей, существующих между обоими произведениями, трактуя эти связи большей частью весьма примитивно — как прямое заимствование, подражание, даже в мелочах¹.

Черты сходства между названными повестями Толстого и Чехова бросаются в глаза. В центре и той и другой важнейшая мировоззренческая проблема — о цели и смысле жизни. И в «Смерти Ивана Ильича» и в «Скучной истории» центральный персонаж, вокруг которого сконцентрировано все повествование, стоя на пороге могилы (вследствие неизлечимой болезни в одном случае, по преклонному возрасту в другом), вынужден совершить полнейшую переоценку ценностей. И Иван Ильич и Николай Степанович с ужасом констатируют бесцельность и пустоту всей прожитой ими жизни, хотя внешне она сложилась у обоих вполне удачно и те личные цели, которые они ставили перед собой, ими достигнуты (карьера и комфорт у Ивана Ильича, широкая и плодотворная научная деятельность — у Николая Степановича). Оба они в равной степени (хотя и по разным мотивам) должны признать свою жизнь лишенной высшего содержания и смысла — того, что единственно могло бы оправдать ее в их глазах перед лицом надвигающейся смерти. Переоценивая себя и свое прошлое, оба героя переоценивают также все окружающее и приходят к самым

¹ Николаев, например, развязно утверждал, что такая деталь, как пристрастие Лизы, дочери Николая Степановича, к мороженому, заимствована из «Войны и мира», так как Наташа Ростова тоже любит мороженое.

печальным выводам. Оба они одиноки, жена и дети, преданные мелким, пошлым интересам, далеки от них, не понимают их душевных страданий. В обоих случаях жизненное «банкротство», «несостоятельность» героев находят воплощение и в семейной драме, которую им суждено пережить перед смертью, и т. д. и т. д.

Нужно ли говорить, что отмеченные черты сходства объясняются не «подражанием» Чехова Толстому, а чем-то гораздо более глубоким: элементами общности в самом замысле, в идейной направленности, обусловленными в значительной мере особенностями исторического периода, вызвавшего к жизни обе повести. «Смерть Ивана Ильича» и «Скучная история» — самые значительные и вместе с тем самые характерные порождения второй половины 80-х годов. В пору глухой реакции «Смерть Ивана Ильича» и «Скучная история» были двумя «выстрелами, прозвучавшими в ночи». И повесть Толстого и повесть Чехова говорили о том, что «дальше так жить нельзя», что наступила пора пересмотреть и свое сознание и свое бытие.

Как мы уже имели случай убедиться, Чехов к концу 80-х годов не раз проявлял свою восприимчивость к сильным сторонам мировоззрения Толстого. Глубина и сила толстовского критицизма, заложенного в «Смерти Ивана Ильича», очевидно, захватила Чехова и помогла ему сделать крупный шаг вперед — создать свое первое широкое литературное полотно в том же — толстовском — духе осуждения всего уклада жизни «культурного общества». До «Скучной истории» критицизм Чехова, с такой силой проявившийся уже в произведениях середины 80-х годов, не поднимался, однако, на высоту столь больших и широких обобщений. В этом и сказало влияние Толстого на автора «Скучной истории» — глубоко положительное, плодотворное. Те частные, мелкие, эфемерные цели, которыми живут сейчас люди из «культурного общества», не выдерживают суда совести и разума — вот, собственно, какую только истину помог осознать Чехову Толстой. Эта истина и является центральным идейным стержнем как «Смерти Ивана Ильича», так и «Скучной истории». Черты сходства в идейно-тематическом замысле с необходимостью обусловили частные и частичные совпадения и в поведении

персонажей, и в их переживаниях и раздумьях, о чем речь шла выше.

Отсюда же и некоторые общие черты в художественных принципах показа жизни в обеих повестях. Толстовский метод «срывания масок», обличения лжи и фальши, пронизывающих личные и общественные отношения людей из привилегированной верхушки, все время дает о себе знать в «Смерти Ивана Ильича». Но вслед за Толстым этот метод мастерски применяет Чехов в «Скудной истории».

Не только жизнь Ивана Ильича, но и жизнь Николая Степановича внешне облечена в упорядоченные, благообразные, красивые формы. Это всячески подчеркивается в повести. Как знаменитый деятель науки, Николай Степанович на каждом шагу сталкивается с знаками уважения и почета со стороны окружающих. Он живет именно так, как полагается большому ученому и тайному советнику: его день строго расписан, причём в расписании его занятий главное — научная работа, подготовка к лекциям; Николая Степановича навещают коллеги по университету, ученики, студенты; меню его обеда соответствует его положению в обществе и пр. Общаясь с женой и дочерью, Николай Степанович не скупится на внешние проявления любви и внимания и встречает с их стороны такое же отношение к себе, и т. д. и т. д.

Но, как и в «Смерти Ивана Ильича», все эти формы оказываются чем-то внешним, показным, противоречащим внутренней сути. Это не более как привычная, узаконенная обычаями ложь. По существу главное в повседневном времяпрепровождении знаменитого профессора не научная деятельность, а бессонница и мучительные раздумья о бессмысленности своего существования. Настоящих учеников — продолжателей его дела у Николая Степановича нет, а его общение с коллегами — лишь дань вежливости и приличиям. Одиноким, предоставленным самому себе, он не пользуется никакой властью у себя дома: втершийся в его семью проходивец Гнеккер оказывается сильнее его — Николай Степанович вынужден во время обеденной церемонии ежедневно терпеть его присутствие. Духовный контакт с женой давно утерян, и они стали по существу чужими друг другу людьми, и т. д. и т. д.

Однако если многое сближает, то многое и разделяет «Скудную историю» и «Смерть Ивана Ильича». Следуя за Толстым, Чехов остался самим собою. Черты происхождения в идейной направленности обоих произведений помогают лучше понять различия между взглядами Чехова конца 80-х годов и взглядами Толстого.

Толстой и Чехов осуждают бытие и сознание своих центральных персонажей и людей, которые их окружают, но смысл и мотивы этого осуждения во многом различны — хотя и в том и в другом случае они коренятся в условиях русской действительности 80-х годов.

Толстой беспощадно карает Ивана Ильича за возмутительную безразличность и греховность прожитой им жизни. Вина Ивана Ильича заключается в том, что он, принадлежа к эксплуататорской верхушке общества, вел паразитический образ жизни и не только не сделал ничего хорошего ближним, но еще участвовал в судебно-бюрократическом насилии над людьми. Погрязши в узкоэгоистических интересах, стремясь лишь к «приличному» и «приятному» — к карьере и комфорту, Иван Ильич презрел основной нравственный закон — закон добра, любви к окружающим. Следует этому закону скромный человек из народа Герасим, живущий настоящей трудовой жизнью. Он-то и противопоставит в повести Ивану Ильичу и его ближним. Взрослые члены семьи Ивана Ильича, его сослуживцы и знакомые также никого не любят, кроме себя, ведут такое же паразитическое существование и виноваты не меньше его. Нравственная вина Ивана Ильича показана в повести как великая общая вина эксплуататорских классов перед народом. Вся повесть являет собой гневное осуждение общественного строя, основанного на эксплуатации и лжи, беспощадный приговор всей окружающей Толстого действительности. Таким образом, подводным течением повести является в конечном счете «мысль народная», дающая единственно правильный угол зрения для оценки всего описываемого в ней.

Замысел чеховского произведения не претендует на такую широту и глубину. «Скудная история» почти не выходит из рамок изображения интеллигенции конца 80-х годов с ее шатаниями, поисками ею «общей идеи».

И по тональности своей чеховская критика отличается от толстовской.

Чехов также делает ответственным Николая Степановича за пустоту и неполноценность его существования. Но все же скорее бедой, чем виной, знаменитого ученого представлено в повести то, что он, посвятив свою жизнь интеллектуальной деятельности, не сумел пожать самого драгоценного из возможных плодов ее — не смог выработать цельного мировоззрения, определенного и ясного общественного идеала, который позволил бы ему правильно понять окружающее и целеустремленно действовать. Чехов неоднократно отмечает недостаток воли и темперамента у своего персонажа. Он недвусмысленно осуждает его пассивность, холодность, равнодушие к происходящему вокруг. «Я холоден, как мороженое», — заявляет Николай Степанович. Катя не случайно адресует своему опекуну такой упрек: «Лучшие люди видят зло только издали, не хотят подойти поближе и вместо того, чтоб вступить, пишут тяжеловесным слогом общие места и никому не нужную мораль...»¹

В письме Чехова к Плещееву о «Скучной истории» мы читаем: «Мой герой — и это одна из его главных черт — слишком беспечно относится к внутренней жизни окружающих и в то время, когда около него плачут, ошибаются, лгут, он преспокойно трактует о театре, литературе; будь он иного склада, Лиза и Катя, пожалуй бы, не погибли»².

Но наряду с этим писатель наделил старого профессора и такой чертой, которая была в высокой мере присуща ему самому, особенно в 80-е годы: верой в беспредельные возможности, связанные с развитием науки и культуры. Не только свои заветные мысли, но и заветные мысли Чехова выражает Николай Степанович, когда говорит: «Наука самое важное, самое прекрасное и нужное в жизни человека... она всегда была и будет высшим проявлением любви... только ею одному человек победит природу и самого себя...»³ Напомним, что ту же мысль Чехов, уже от своего имени, развивает в цитированном ранее письме к Суворину от 27 марта 1894 года: «...В науке и электричестве больше

любви к людям, чем в целомудрии и воздержании от мяса». Но на все это, по Чехову, способна лишь наука, возвысившаяся до цельного, стройного мировоззрения — того самого, которое отсутствует у Николая Степановича.

Толстой, конечно, не подписался бы под сентенцией чеховского героя. И тут перед нами раскрывается важнейшее различие рассматриваемых произведений. Пафос «Смерти Ивана Ильича», в первую очередь, — этический: для преображения жизни необходимо моральное просвещение людей. В «Скучной истории» преобладает пафос науки и человеческого разума: чтобы переделать жизнь, нужно прежде всего знать, что делать, — нужна «общая идея».

В отличие от своего пассивного и равнодушного персонажа, только в старости заметившего отсутствие у него единого мировоззрения, Чехов в конце 80-х годов с величайшим напряжением и страстью ищет «общую идею», старается осмыслить многие важнейшие проблемы современности, найти их решение. Но его взгляды, при всей их прогрессивности, еще во многом неясны, распылены. В этом (и только в этом) смысле можно сказать, что писатель сам не владеет еще «общей идеей». Это накладывает отпечаток на «Скучную историю», на весь ход и исход внутренних метаний ее героя. И тут обнаруживается еще одно существенное различие между обеими повестями. Толстой прекрасно знает, каким должно было бы быть бытие и сознание его персонажа. Он и подсказывает в финале Ивану Ильичу ту спасительную, по его мнению, мысль или, точнее, то спасительное чувство, которое в последний момент должно примирить его и с жизнью и с смертью. Чехов не может поступить так же со своим персонажем, обрекая Николая Степановича на бесплодность его исканий.

4

Следующая повесть Чехова, на которой с интересующей нас точки зрения необходимо остановиться, — «Жена», написанная в октябре — ноябре 1891 года и напечатанная в № 1 «Северного вестника» за 1892 год. Это произведение во многих отношениях замечательное,

¹ А. П. Чехов, Полн. собр. соч. и писем, т. VII, М. 1947, стр. 245.

² Там же, т. XIV, стр. 406—407.

³ Там же, т. VII, стр. 235—236.

переломное. Оно овеяно настроениями «голодного года». В нем уже явственно намечается «общая идея», отсутствие которой в сознании интеллигенции еще так недавно удручало автора «Скучной истории». Эта «общая идея» — народная: идея о страданиях и величии народа и долге перед ним, лежащем на имущих классах. Не только в идейной направленности, но и в художественной структуре повести (круг образов, характер сюжетных коллизий) отчетливо сказалось влияние Толстого, сильных сторон его мировоззрения и творчества.

Голод 1891 года сразу же самым наглядным образом вскрыл и беспомощность царской бюрократии перед лицом народного бедствия, и, главное, равнодушие ее к этому бедствию. Правительственная «борьба с голодом» с самого начала превратилась в борьбу с голодающими и с общественной инициативой в деле помощи им. Организованные независимо от царских чиновников группы помощи голодающим вовлекли в свои ряды десятки тысяч добровольных участников (главным образом из среды интеллигенции), которых картины народного горя многому научили. В условиях голода острота социальных контрастов особенно бросалась в глаза.

«Грудной ребенок хочет кормить свою кормилицу; паразит — то растение, которым он питается! Мы, высшие классы, живущие все им (народом, народным трудом. — Ф. Е.), не могущие ступить шагу без него, мы его будем кормить! В самой этой затее есть что-то удивительно странное»¹. Эта мысль, так категорически выраженная Толстым в статье «О голоде», с той или иной степенью четкости сознавалась, вероятно, многими передовыми людьми в конце 1891 года.

Осенью и зимой 1891 года имя Толстого часто мелькает в письмах Чехова. В октябре он с восхищением перечитывает «Войну и мир». Величайшим уважением проникнуты его отзывы о деятельности Толстого по борьбе с голодом. «Толстой-то, Толстой! Это, по нынешним временам, не человек, а человечище, Юпитер»², — восклицает он в письме к Суворину от 11 декабря по поводу статьи Толстого об организации столовых для голодающих. «Надо иметь смелость и авторитет Тол-

стого, чтобы идти наперекор всяким запрещениям и настроениям и делать то, что велит долг»¹, — пишет он в тот же день Егорову.

Именно к осени 1891 года относится заявление Чехова, цитируемое всеми его биографами: «если я литератор, то мне нужно жить среди народа, а не на Малой Дмитровке с мангусом. Нужен хоть кусочек общественной и политической жизни»².

Все это нашло отражение в повести «Жена».

Великое народное бедствие 1891 года в повести «Жена» не фон, а идейная и сюжетная основа произведения. Совершенно по-толстовски вопросы индивидуальной этики переключены тут в сферу этики социальной. Совершенно по-толстовски моральное просветление героя повести объяснено соприкосновением его с народной жизнью. Подобно Оленину, Пьеру Безухову, Левину, новые моральные критерии он заимствует у людей из народа, хотя по своим индивидуально-психологическим чертам он резко отличается от толстовских героев.

Этот центральный персонаж — уже упоминавшийся нами вскользя инженер Асорин — камер-юнкер, высокопоставленный чиновник в отставке, богатый землевладелец. Асорин, как мы уже говорили, самый яркий представитель «каренинского типа» у Чехова. Этому стражу морали, законности, «идеалов» жена бросает в лицо: «Вы тяжелый человек, эгоист, ненавистник... у вас честный образ мыслей, и потому вы ненавидите весь мир... вы справедливы и всегда стоите на почве законности, и потому вы постоянно судитесь с мужиками и соседями»³.

Антиподом Асорина является в повести образ Брагина — как бы перекожевавший сюда со страниц «Войны и мира»: он напоминает и старика Ростова, и некоторых других персонажей толстовского романа. Это разорившийся хлебосольный помещик, человек простодушный и ничем не замечательный, но в моральном отношении неизмеримо превосходящий Асорина: он наделен силой и непосредственностью чувств, даром простой человеческой любви к окружающим.

¹ Л. Н. Толстой, Полн. собр. соч., т. 29, М. 1954, стр. 104.

² А. П. Чехов, Полн. собр. соч. и писем, т. XV, М. 1949, стр. 288.

¹ А. П. Чехов, Полн. собр. соч. и писем, т. XV, М. 1949, стр. 283.

² Там же, стр. 255.

³ Там же, т. VIII, стр. 33—34.

Бездушные и фарисейство Асорина превратили его семейную жизнь в ад, оттолкнули от него жену. Но Асорин, конечно, не сознает, что он за человек и насколько он виноват перед женой. Образ жены Асорина Натальи Гавриловны полон обаяния. С внешней красотой она сочетает красоту внутреннюю, у нее широкая и сильная душа. Читая о ней и о ее столкновениях с мужем, невольно вспоминаешь Анну Каренину.

Из состояния эгоистического безучастия к окружающему Асорина выводит голод 1891 года. Побуждаемый тщеславием, он решает присвоить себе роль организатора помощи голодающим. Но эта роль ему явно не по плечу, для выполнения ее у него не хватает элементарных человеческих качеств: незадолго до того, стоя на страже «порядка», Асорин возбудил судебное преследование против голодных мужиков, укравших у него 20 кулей ржи. Дело, к которому тянется Асорин, давно без всякого шума взяла в свои руки его жена. Гостиня Натальи Гавриловны стала центром помощи голодающим во всем уезде. Узнав об этом, Асорин под влиянием оскорбленной гордости, зависти и т. д. мерзко ведет себя с женой и, наконец, решает уехать в Петербург. Совесть уже нашептывает ему, что он — «гадина» и глубоко не прав перед Натальей Гавриловной; судебное дело, начатое против голодных мужиков, не дает ему покоя. Но настоящий внутренний кризис наступает тогда, когда Асорин попадает по дороге в голодающую деревню Пестрово. Вопреки ожиданиям, ничто снаружи не выдает бедственного положения крестьян — «все тихо, обыкновенно, просто». «Глядя на улыбающегося мужика, на мальчика с громадными рукавицами, на избы, вспоминаю свою жену, я понимал теперь, что нет такого бедствия, которое могло бы победить этих людей; мне казалось, что в воздухе уже пахнет победой... Из миллионной толпы людей, совершавших народное дело, сама жизнь выбрасывала меня, как ненужного, неумелого, дурного человека. Я помеха, частица народного бедствия, меня победили, выбросили, и я спешу на станцию, чтобы уехать и спрятаться в Петербурге...»¹. Так сознание величия народа и народного

дела заставляет Асорина переоценить и свою личность и все окружающее.

Асорин решает вернуться домой, чтобы начать жить по-новому. Заехав на обратном пути к Брагину и любуясь у него мебелью, сделанной простым крепостным столяром-самоучкой Бутыгой, он размышляет: «Если со временем какому-нибудь толковому историку искусств попадутся на глаза шкап Бутыги и мой мост, то он скажет: «Это два в своем роде замечательных человека: Бутыга любил людей и не допускал мысли, что они могут умирать и разрушаться, и потому, делая свою мебель, имел в виду бессмертного человека, инженер же Асорин не любил ни людей, ни жизни; даже в счастливые минуты творчества ему не были противны мысли о смерти, разрушении и конечности, и потому, посмотрите, как у него ничтожны, конечны, робки и жалки эти линии»¹.

Асорин возвращается домой, рассказывает жене об «ужасе и презрении», которое он испытывает к своему прежнему «я», и большую часть своего состояния отдает на дело помощи голодающим.

В его глазах, как и в глазах Чехова, это не акт благотворительности, а нечто совершенно иное. Устами другого персонажа писатель заявляет: «Пока наши отношения к народу будут носить характер обычной благотворительности... до тех пор мы будем только хитрить, влиять, обманывать себя и больше ничего. Отношения наши должны быть деловые, основанные на расчете, знании и справедливости. Мой Васка всю свою жизнь был у меня работником; у него не уродило, он голоден и болен. Если я даю ему теперь по 15 копеек в день, то этим я хочу вернуть его в прежнее положение работника, то есть охраняю прежде всего свои интересы»². Итак, с точки зрения Чехова, столь разрекламированная «помощь» народу со стороны господствующих классов — не благодетельство: она продиктована их собственными классовыми интересами.

Таким образом, в основе чеховской повести лежит «мысль народная» — народная правда, подчиняющая себе даже такого идеолога «белой кости», как Асорин.

¹ А. П. Чехов, Полн. собр. соч. и писем, т. VIII, 1947, стр. 37. (Подчеркнуто мною. — Ф. Е.)

¹ А. П. Чехов, Полн. собр. соч. и писем, т. VIII, 1947, стр. 41.

² Там же, стр. 48.

И все-таки толстовскую тему морального преобразования барина-помещика в результате столкновения его с народом Чехов разработал в «Жене», конечно, по-своему. Сила социальной критики Чехова еще намного уступает силе толстовской критики. Напомним, что в статье «О голоде», написанной почти одновременно с «Женой», Толстой так — несравненно радикальнее — сформулировал задачи, вытекающие для привилегированной верхушки из уроков голода: «Поняв свое отношение к народу, желая служить ему, первое, что мы сделаем, будет неизбежно то, что мы постараемся гendre gorge, возратить народу то, что мы отобрали у него, второе будет, что мы перестанем отбирать от него то, что отбираем, и, в-третьих, то, что постараемся, изменив свою жизнь, разорвать кастовую черту, разделяющую нас от народа»¹. Чехов не предъявляет представителям эксплуататорских классов столь далеко идущих требований.

Некоторые ретивые охранители самодержавия из реакционной прессы ополчались на «Жену» именно за «подражание» Толстому, за идейную перекличку с «крамольными» писаниями Толстого.

В январе же 1892 года, когда вышла в свет «Жена», много шума наделало опубликование «Московскими ведомостями» (№ от 22 января) части статьи «О голоде» (напечатанной полностью в Англии), с сопровождавшими ее погромными выпадами против Толстого². К травле Толстого присоединился и «Гражданин»: в № от 24 января говорилось о «большом графе Толстом», его «безумных речах», «бреду бешеного социалиста» и т. д.

К повести Чехова «Московские ведомости» отнеслись сравнительно «милостиво»: критик Николаев (в № 18 от 18 января, вышедшем до перепечатки фрагментов из статьи Толстого) ограничился тем, что дал ей уничтожающую оценку и заявил: «Внешнее подражание Толстому доведено здесь до комизма, а внутреннего содержания уже решительно никакого нет».

¹ Л. Н. Толстой, Полн. собр. соч., т. 29, М. 1954, стр. 109.

² См. об этом комментарий А. Опульского к статье «О голоде» в т. 29 Полн. собр. соч. Л. Н. Толстого.

Зато отзыв «Гражданина» о «Жене» (3 февраля 1892 года) уже смахивал на полицейский донос о причастности Чехова к «бреду бешеного социалиста». Некто Р — ий писал в статье «Смелый талант»: «Я, лично, не могу иначе объяснить себе появление в свет этой странной повести, как тем, что г. Чехову, в голодный год, понадобилось написать «голодную повесть» — в рендант и в дополнение к «голодной» философии графа Толстого... Весь... ум и вся смелость «Жены» — чужие, заимствованные». Пересказав затем кое-что из сюжета повести и назвав ее «вздором», Р — ий многозначительно заявлял в заключение: «Предоставляю судить читателям... чью песню тянет «смелый талант».

Либеральные критики отрицательно отнеслись к повести, в один голос твердя о «непонятности», «немотивированности» метаморфозы, происшедшей с Асориным. Это утверждал Протопопов в «Русской мысли»¹, Скабичевский в «Новостях»², И. Иванов в «Русских ведомостях»³.

Сочувственный прием «Жена» встретила только у людей, близких к Толстому. По просьбе В. Черткова Чехов согласился на переиздание повести «Посредником». В. Чертков писал Чехову, что повесть производит «не только самое хорошее, но и сильное впечатление». И. Горбунову-Посадову В. Чертков сообщал, что он «с разных сторон получает отзывы о «Жене» и что «из всех рассказов нашей первой серии многим «Жена» нравится более всего»⁴.

5

Дальнейшим весьма важным шагом в развитии творчества Чехова явилась напечатанная в конце 1892 года повесть «Палата № 6», отразившая рост активности широких общественных сил страны. «Общая идея», пронизывающая повесть, заключается в призыве к борьбе

¹ «Русская мысль», 1892, № 2, «Письма о литературе», стр. 206—215.

² «Новости и биржевая газета» от 20 февраля 1892 г.

³ «Русские ведомости» от 20 января 1892 г.

⁴ Цитаты из писем Черткова даются по комментариям к Полн. собр. соч. и писем А. П. Чехова. См. т. VIII, стр. 517.

с насилием и произволом, к отказу от настроений покорности и безразличия.

Уже некоторые из современников усмотрели в «Палате № 6» сознательный выпад против учения Л. Толстого, против «непротивления злу насилием» («философия» доктора Рагина, осуждаемая Чеховым). Именно в этом видит идейный смысл повести традиционная концепция. Правильно ли такое понимание произведения?

Оно убедительно опровергается в одной из относящихся к нашей теме работ — в уже упомянутой статье А. Скафтымова «О повестях Чехова «Палата № 6» и «Моя жизнь». Автор неоспоримо доказывает, что «ни Толстой, ни Марк Аврелий не могут составить Рагина никаким параллели». В основе взглядов и поведения Рагина — не «непротивление злу насилием» и вообще не какая-нибудь позитивная нравственная доктрина, а полная безучастность к злу, стремление забыть о нем, предаваясь умственным наслаждениям. «Его привлекает «уразумение жизни» в чисто мыслительном, созерцательно-познавательном понимании, без всякой нравственной тревоги. О задачах нравственного совершенства у Рагина нет речи»¹. С этой аргументацией нельзя не согласиться.

Весьма важно отметить, что у Толстого и его окружения «Палата № 6» встретила вполне сочувственный прием. Ее здесь оценили бы совершенно иначе, если бы в ней содержалась критика морально-философского учения Толстого. «Какая хорошая вещь Чехова «Палата № 6»², — писал Толстой. И. Горбунову-Посадову 24 декабря 1892 года. «Благодарю Вас от души, — писал Чехову В. Г. Чертков, — за все хорошее, которое мы вынесли и несомненно вынесут все читатели от этой вещи. Радуюсь за Вас, за ту высоту, на которой вы находитесь, за ширину вашего кругозора и глубину взгляда, когда писали это истинно-художественное произведение»³. И в этом и в следующем письме (от 15 января 1893 г.) Чертков просил разрешения Чехова на переиздание повести «Посредником», ссылаясь на «обще-

человечность, важность и современность ее идеи»⁴. Вскоре повесть с согласия Чехова была выпущена «Посредником».

Человек должен бороться с окружающим его злом. Рагин же относится к нему безразлично, он отгородился от людских страданий книгами и афоризмами. В этом важнейшем пункте взгляды Чехова и Толстого полностью совпадали: «вся жизнь человека есть борьба со злом, противление злу разумом и любовью», — писал Толстой в «Трех притчах»⁵. Кардинальное расхождение начиналось дальше — в вопросе о морально допустимых средствах противодействия злу.

Однако что же в таком случае стоит за «философией» Рагина, что в ней типизировал писатель? А. Скафтымов пытается в своей статье дать ответ и на этот вопрос, по тут мы решительно с ним расходимся. Посредством ряда логических и текстуальных сопоставлений А. Скафтымов стремится доказать, что столь осуждаемые Чеховым взгляды Рагина представляют собой не что иное, как слепок с системы Шопенгауэра: «философия Рагина ближе всего напоминает Шопенгауэра»⁶. Хотя автор тут же делает оговорку, что Чехов «имел в виду не столько самого Шопенгауэра... сколько тот круг интеллигентного обывательства, где ходячие в ту пору «Афоризмы» Шопенгауэра использовались для оправдания моральной лени и бегства от борьбы»⁷, это не может спасти его ошибочного тезиса. «Шопенгауэрианство» исповедовали тогда в России немногие одиночки. Неужели же повесть Чехова была направлена против них — и неужели она прогремела на всю Россию благодаря своему «антишопенгауэрианству»? И разве в связи с этим так высоко оценил ее Ленин? На все это можно ответить только отрицательно.

За рассуждениями Рагина стояло «толстовство», преломленное сквозь призму восприятия обывательской массы: не воззрения самого Толстого и даже не взгляды правоверных «толстовцев», а обывательское восприятие их, чрезвычайно распростра-

¹ Ученые записки Саратовского государственного пед. ин-та, вып. XII, Саратов, 1948, стр. 71—72.

² Л. Н. Толстой, Полн. собр. соч., т. 66, 1953, стр. 288.

³ А. П. Чехов, Полн. собр. соч. и писем, т. VIII, 1947, стр. 529.

⁴ А. П. Чехов, Полн. собр. соч. и писем, т. VIII, 1947, стр. 529.

⁵ Л. Н. Толстой, Три притчи, изд-во «Посредник», 1911, стр. 7.

⁶ Ученые записки Саратовского государственного пед. ин-та, вып. XII, Саратов, 1948, стр. 76.

⁷ Там же.

ненное в 80—90-е годы, служившее самой надежной опорой для оправдания полнейшего квиетизма и всяких антиобщественных настроений. В самом деле, чем отличаются взгляды Рагина от учения Толстого? Грубо говоря, тем, что Толстой осуждал «противление злу насилем», Рагин же в теории и на практике «не противился злу» вообще. Но ведь именно так — как призыв не противодействовать злу вообще, как призыв к полному бездействию и была воспринята в 80—90-х годах толстовская проповедь очень многими. Недаром Толстой считал себя вынужденным выступить в «Трех притчах» и других сочинениях против подобного извращения его взглядов. Таким обывательским «толстовством» проникнуты многие суждения Рагина («Покой и довольство человека не вне его, а в нем самом...»);¹ «Ничтожно все то внешнее, что волнует нас. Нужно стремиться к уразумению жизни, а в нем истинное благо»² и т. д.).

Говоря о том, как соотносится «Палата № 6» с взглядами Толстого, нельзя упускать из виду другой, очень важной стороны вопроса. Гневное осуждение самодержавного режима произвола и насилия, пронизывающее всю чеховскую повесть, в частности образ самой палаты № 6 — символа России, отданной во власть мрачным силам царизма (вспомним впечатление, произведенное этим образом на В. И. Ленина), — глубоко созвучны творчеству Толстого как «страстного обличителя, великого критика».

6

У Чехова есть произведение, в котором он действительно выступает в роли прямого идейного антагониста религиозно-нравственного учения Толстого. По это, на наш взгляд, не «Палата № 6», а рассказ «Убийство» (1895)³, играющий в творчестве Чехова сравнительно второстепенную роль и ускользнувший от внимания исследователей занимающей нас проблемы.

¹ А. П. Чехов, Полн. собр. соч. и писем, т. VIII, М. 1917, стр. 135—136.

² Там же, стр. 138.

³ Рассказ задуман, видимо, в самом начале года — задолго до личной встречи Чехова с Толстым. Первое упоминание о нем в письме Чехова датируется 17 марта (см. т. XVI, стр. 226).

Мы считаем весьма вероятным, что в замысле рассказа заложен сознательный полемический выпад против толстовства. Но если даже Чехов субъективно и не ставил перед собой подобной задачи, нельзя не видеть, что объективно рассказ прямо противостоит некоторым важнейшим догмам толстовства. В «Убийстве» проявилась вся сила отталкивания зрелого Чехова от того, что составляло «предрассудок» Толстого.

В первые месяцы 1895 года имя Толстого было у всех на устах: никогда, кажется, интерес к нему и его произведениям не был еще так силен. В № 1 «Северного вестника» за 1895 год увидела свет статья Толстого «Религия и нравственность» (журнальное название — «Противоречия эмпирической нравственности»). В самом начале марта появляется, одновременно в трех изданиях, «Хозяин и работник»: в «Посреднике», в № 3 «Северного вестника» и в составе 14-го тома «Сочинений гр. Л. Н. Толстого». «Ни одно литературное произведение в России не распространялось с такой быстротой, как новый рассказ Л. Н. Толстого «Хозяин и работник», — писал журнал «Неделя» (1895, № 12). В первые дни после своего появления он был перепечатан почти всеми газетами без исключения». Статья и рассказ вызвали десятки критических откликов в печати. Между статьей и рассказом имеется несомненная идейная связь: второй является кое в чем как бы художественной иллюстрацией к положению первой о роли религии в человеческой жизни. Взглядам Толстого на религию и нравственность, нашедшим выражение в этих произведениях, и противостоят чеховское «Убийство».

В своей статье, в концентрированном виде отразившей слабые черты его мировоззрения, Толстой утверждает, что никакое развитие просвещения не сможет уничтожить религии и что в основе отношений человека к окружающему может и должно лежать только религиозное мировоззрение. Чтобы прийти к «высшему христианскому жизнепониманию», совсем не нужно быть ученым, образованным человеком. Напротив, наиболее подготовлен к восприятию его простой русский полуграмотный мужик. Нравственность же целиком заключена в религиозном объяснении жизни и неотделима от него. Основой подлинной нравственности может служить только религия, но отнюдь не просвещение, не социальный прогресс.

Нетрудно заметить, что эти же самые взгляды Толстого находят художественное преломление в «Хозяине и работнике»: простой деревенский кулак и барышник Яков Брехунов — жестокий и бездушный стяжатель — благодаря дремлющему в его душе религиозному чувству оказывается в критический момент способным к полному нравственному перерождению, к самопожертвованию ради ближнего.

Чехову эти толстовские идеи были не только чужды, но прямо враждебны. Вспомним его суждения о науке и материальной культуре, как важнейших основах и проводниках нравственности (в «Скучной истории», в письме к Суворину от 27 марта 1894 года и др.). Толстой считал крестьянство носителем высшей — религиозной — нравственности (такой смысл имеет и образ Никиты в том же «Хозяине и работнике»). Чехов полагал, что для всяческого — в том числе и нравственного — развития темной крестьянской массы, придавленной и эксплуатируемой самодержавием, помещиками и капиталистами, прежде всего необходимы широкие мероприятия по просвещению ее. Эти взгляды Чехова нашли вскоре художественное воплощение в «Мужиках» (1897), как известно, оцененных Толстым отрицательно. «Убийство» можно рассматривать как один из подходов к теме «Мужиков» — к широкому изображению царской деревни. Просвещение, о котором Чехов мечтал для народа, должно было быть, по его убеждению, именно светским, а не религиозным.

13 апреля 1895 года, уже после зарождения у него замысла рассказа «Убийство», Чехов сообщал А. С. Суворину о следующем эпизоде из Мелиховской жизни: «Вчера пьяный мужик — старик, раздевшись, купался в пруде, дряхлая мать била его палкой, а все прочие стояли вокруг и хохотали. Выкупавшись, мужик пошел босиком по снегу домой, мать за ним. Как-то эта старуха приходила ко мне лечиться от снычков — сын побил. Откладывать просвещение темной массы в далекий ящик, это такая низость!»¹

Чеховские — полярно противоположные толстовским — взгляды на соотношение религии и нравственности и получили отражение в рассказе «Убийство». В центре его

стоит тот отсталый в культурном отношении, но твердо верующий в бога мужик, о котором писал Толстой в своей статье. Это владелец трактира Яков Терехов — такой же кулак, барышник и бессовестный стяжатель, как Яков Брехунов. Нарочито большое внимание уделяет Чехов изображению обстановки, в которой разворачивается действие. Трактир Терехова находится возле глухой, затерявшейся в лесу железнодорожной станции. Кроме станции и трактира, кругом ничего нет. Единственные посетители семьи Тереховых — станционный буфетчик и жандарм — люди ограниченные, полудикие. Бескультурье, темнота, жестокие, бесчеловечные нравы — вот что окружает Тереховых и определяет быт самой семьи. Яков Терехов слышит, как его дочь ругается самой отборной бранью, «и вся эта жизнь в лесу, в снегу, с пьяными мужиками, с бранью представилась ему такой же дикой и темной, как эта девушка». Подобно своему отцу Яков Терехов — религиозный фанатик. Он устроил у себя в доме собственную молельню и с величайшей строгостью соблюдает обряды, посты, службы. Однако религиозность его при всем том носит чисто внешний характер: «он читал, пел, кадил и постился... для порядка...». Сознание этого порядка и его важности доставляло Якову Ивановичу во время молитвы большое удовольствие. Но это не мешало ему отдавать деньги в рост, спавать мужиков, продавать краденых лошадей: религиозность ничуть не подняла, не облагородила Якова в моральном отношении. Когда двоюродный брат Матвей укоряет его в гордыне и фарисействе, Яков видит в словах Матвея «лишь обычную отговорку пустых и нерадивых людей, которые говорят о любви к ближнему, о примирении с братом и проч. для того только, чтобы не молиться, не поститься и не читать святых книг, и которые презрительно отзываются о наживе и процентах только потому, что не любят работать. Ведь быть бедным, ничего не копить и ничего не беречь гораздо легче, чем быть богатым»¹.

Если в «Хозяине и работнике» кульминационным пунктом является внутреннее «просветление» Брехунова и спасение им Никиты, то в чеховском рассказе кульминацию составляет ужасная сцена убийства Матвея. В порыве дикой злобы и изуверства Яков и его сестра Аглая,

¹ А. П. Чехов, Полн. собр. соч. и писем, т. XVI, М. 1949, стр. 240—241. (Разрядка моя. — Ф. Е.)

¹ А. П. Чехов, Полн. собр. соч. и писем, т. IX, стр. 44—45.

во многом похожая на брата, убивают Матвея — убивают без всякой разумной причины и основания, только за религиозное инакомыслие, постоянные укоры да за употребление масла в великий пост.

На примитивные, грубые натуры, не тронутые светом просвещения, религия может оказать самое пагубное в моральном отношении действие — явно хочет сказать своим рассказом Чехов: порождая фанатизм и изуверство, она превращает иногда человека в дикого зверя, лишённого совести и чести. В изображении Чехова Яков перед убийством — большой, страшный зверь: «...ему (Якову. — Ф. Е.) казалось, что это ходит не он, а какой-то зверь, громадный, страшный зверь, и что если он закричит, то голос его пронесется ревом по всему полю и лесу и испугает всех...»¹, «чувствуя себя громадным, страшным зверем, он прошёл через сени...»

Своеобразен эпилог повести, в котором рассказывается о духовном просветлении Терехова. Эта типично толстовская тема преломлена, однако, не по-толстовски, а по-чеховски. Внутреннее преобразование Терехова мотивируется не пробуждением в нем христианской любви к окружающим, а расширением его умственного и нравственного кругозора. Терехов перестает быть религиозным фанатиком-изувером, нетерпимым к инаковерующим и инакомыслящим, и обращается к новой «простой вере». Это происходит благодаря тому, что он выходит из состояния прежней одичалости. Он «пожил в одной тюрьме вместе с людьми, пригнанными сюда с разных концов, — с русскими, хохлами, татарами, грузинами, китайцами, чухной, цыганами, евреями... прислушался к их разговорам, наглядясь на их страдания...»² С тяжелым чувством вспоминает он о том, что раньше окружало его: «темнота, дикость, бессердечие и тупое, суровое, скотское равнодушие людей»³.

7

Наиболее отчетливо воздействие сильных сторон мировоззрения Толстого (особенно его могучей социальной критики) проявилось в произведениях Чехова, написан-

¹ А. П. Чехов, Полн. собр. соч. и писем, т. IX, стр. 50.

² Там же, стр. 59.

³ Там же, стр. 60.

ных в начале второй половины 90-х годов — в «Доме с мезонином» (1896) и в «Моей жизни» (1896).

То, что Чехов именно в этот период оказался более восприимчив, чем раньше, к влиянию великого толстовского «разума», не случайно: тут, с одной стороны, сказались общие веяния эпохи, с другой — известную роль могло сыграть личное общение обоих писателей, начавшееся летом 1895 года. На том и на другом необходимо вкратце остановиться.

К середине 90-х годов период спада общественной активности окончательно сменяется полосой нового подъема. В основе его лежит рост самосознания крепящего рабочего класса, пробуждение его к самостоятельной политической деятельности. Наряду с развитием рабочего движения ширится волна общедемократического подъема, охватывающего широкие массы интеллигенции, некоторые прослойки крестьянства. Это нашло отражение и в творчестве Толстого и в творчестве Чехова.

В 90-е годы обостряются отношения между Толстым и правящей верхушкой. Убедившись во «вредности» важнейших положений учения Толстого, столкнувшись с учащающимися случаями отказа последователей Толстого от воинской повинности, царская бюрократия переходит к политике репрессий, завершающихся отлучением Толстого от церкви в 1901 году.

Л. Опульская в вступительной статье к 29-му тому юбилейного Собрания сочинений Толстого справедливо констатирует: «1891—1894 годы явились значительным этапом в жизни и творчестве Л. Толстого. Именно в эти годы он особенно ясно осознал социальные причины тяжелого положения трудового народа. В эти годы он пришел к несомненному выводу, что долго строй насилия и угнетения продержаться не может, что «дело подходит к развязке»¹. Нельзя не считать симптоматичным в смысле «активизации» Толстого тот факт, что в 1895—1899 годах он большую часть времени и сил отдает «Воскресению», произведению объективно наиболее революционному, наиболее революционизирующему во всем его творчестве.

Еще важнее с интересующей нас точки зрения то, что смена общественных настроений помогла многим

¹ Л. Н. Толстой, Полн. собр. соч., т. 29, М. 1954, стр. V—VI.

по-новому — иначе, чем в 80-е годы, — глубже и правильнее осмыслить существо взглядов Толстого. В условиях нового исторического периода мировоззрение и творчество Толстого «поворачивается» к окружающим уже не теорией «опрощения», не «непротивлением злу насилием», а прежде всего смелым, решительным осуждением всего старого государственного и общественного строя.

И на творчество Чехова общественный подъем, начавшийся в середине 90-х годов, наложил явственный отпечаток. Именно со второй половины этого десятилетия из-под пера Чехова выходят произведения, в которых с наибольшей силой выражено осуждение всего общественного строя царской России. Помимо «Дома с мезонином» и «Моей жизни», на которых мы вскоре подробно остановимся, укажем на такие яркие создания, как «Человек в футляре» (1898) и «Крыжовник» (1898). В них вопрос о необходимости изменения существующих социально-политических форм ставится со всей отчетливостью и прямотой.

* * *

Впервые Чехов и Толстой встретились 8 августа 1895 года, когда Чехов после долгих сборов и откладываний посетил Ясную Поляну. Приезд Чехова почти совпал с моментом окончания Толстым одной из ранних редакций «Воскресения». Чехову был прочитан первоначальный набросок романа, и он высказал свои впечатления, высоко оценив его «правдивость» — то есть реалистическую типичность¹. Хотя содержание прослушанной Чеховым редакции в основном сводилось к истории отношений Нехлюдова и Катюши, даже в этом виде роман представлял одну из вершин толстовской социальной критики и не мог не производить сильного впечатления.

За первой встречей последовал ряд других. 16 февраля 1896 года Чехов снова у Толстого, на этот раз в Москве. Если верить Суворину, сопровождавшему Чехова, разговор и на этот раз коснулся «Воскресения»².

¹ Источником сведений о первой встрече Толстого и Чехова могут служить воспоминания присутствовавшего при ней С. Семенова. См. «Путь», 1913, № 2, стр. 36.

² Дневник А. С. Суворина. Изд-во Л. Д. Френкель, М.—П. 1923, стр. 80.

28 марта 1897 года Толстой навещает больного Чехова в Москве.

Особенно частыми и теплыми становятся встречи между обоими писателями осенью и зимой 1901—1902 годов, в период болезни Толстого, когда он живет в Гаспре — возле Ялты.

Если письмо к Суворину от 27 марта 1894 года как бы подводит итог отношению Чехова к Толстому за годы 1886—1894, то для последующего периода такое же значение имеет письмо к Меньшикову от 28 января 1900 года. Вот что пишет тут Чехов:

«...Я боюсь смерти Толстого. Если бы он умер, то у меня в жизни образовалось бы большое пустое место. Во-первых, я ни одного человека не люблю так, как его; я человек неверующий, но из всех вер считаю наиболее близкой и подходящей именно его веру. Во-вторых, когда в литературе есть Толстой, то легко и приятно быть литератором; даже сознавать то, что ничего не сделал и не делаешь, не так страшно, так как Толстой делает за всех. Его деятельность служит оправданием тех упований и чаяний, какие на литературу возлагаются. В-третьих, Толстой стоит крепко, авторитет у него громадный, и, пока он жив, дурные вкусы в литературе, всякое пошлячество, наглое и слезливое, всякие шершавые, озлобленные самолюбия будут далеко и глубоко в тени. Только один его нравственный авторитет способен держать на известной высоте так называемые литературные настроения и течения. Без него бы это было беспастушье стадо или каша, в которой трудно было бы разобраться.

Чтобы кончить о Толстом, скажу еще о «Воскресении»... Это замечательное художественное произведение. Самое интересное — это все, что говорится об отношениях Нехлюдова к Катюше, и самое интересное — князя, генералы, тетюшки, мужики, арстанты, смотрители. Сцену у генерала, коменданта Петропавловской крепости, спирита — я читал с замиранием духа — так хорошо! А m-me Корчагина в кресле, а мужик, муж Федосья! Этот мужик называет свою бабу «ухватистой». Вот именно у Толстого перо ухватистое. Конца у повести нет, а то, что есть, нельзя назвать концом. Писать, писать, а потом взять и свалить все на текст из евангелия, — это уж очень по-богословски. Решать все текстом из евангелия — это так же произвольно, как делить арстантов

на пять разрядов. Почему на пять, а не на десять? Почему текст из евангелия, а не из корана? Надо сначала заставить уверовать в евангелие, в то, что именно оно истина, а потом уже решать все текстом...

Перейдя далее к недавно происходившим выборам академиков, Чехов продолжает:

«...Толстого выбрали скрепя сердце. Он, по-тамошнему, нигилист. Так по крайней мере назвала его одна дама, действительная тайная советница, — с чем от души его поздравляю»¹.

И в 1900 году Чехов оспаривает многое во взглядах и в творчестве Толстого. Но насколько отличается это письмо от написанного шестью годами раньше Суворину — и по тону, и по широте взгляда, глубине постановки «вопроса о Толстом».

Письмо к Меньшикову не только проникнуто сердечной любовью и уважением к Толстому-человеку и величайшим пиететом перед Толстым — главою современной Чехову литературы. В нем явно пробивается солидарность с тем, что наиболее важно и ценно в мировоззрении Толстого — мыслителя и писателя. Чехов без обиняков аплодирует Толстому — потрясателю основ, «нигилисту». Он восхищается в «Воскресении» теми сценами и образами, в которых нашла выражение вся сила толстовской критики старого государственного и общественного строя.

Как преломлялась в творчестве Чехова вторая половина 90-х годов солидарность писателя с Толстым-«нигилистом», можно проследить на материале «Дома с мезонином» и «Моей жизни».

«Дом с мезонином» начат в ноябре 1895 года², завершен в конце февраля или начале марта 1896 года³. Две встречи с Толстым отделяют этот рассказ Чехова от пре-

¹ А. П. Чехов, Полн. собр. соч. и писем, т. XVIII, М. 1949, стр. 312—314.

² См. письмо Чехова к Е. Шавровой от 26 ноября 1895 г. А. П. Чехов, Полн. собр. соч. и писем, т. XVI, М. 1949, стр. 288.

³ См. письмо Чехова к В. Гольцеву от 17 марта 1896 г. Там же, стр. 315.

дыдущего («Ариадна»). Отголоски толстовских идей явно слышатся в рассказе.

Полная поэзия истории любви художника-пейзажиста к Мисюсь (в своей основе автобиографическая) сочетается в «Доме с мезонином» с чем-то новым для Чехова: небывалой по широте и публицистической обнаженности постановкой социального вопроса, вопроса о бедственном положении народных масс. Социального вопроса Чехов не раз касался в рассказах 80-х годов. «Народная мысль» лежит, как мы видели, в основе повести «Жена». Но никогда раньше Чехов не пытался в таком масштабе и с такой глубиной осветить основную социальную коллизию антагонистического общества, никогда еще «народная мысль» не звучала у него с такой силой.

Как уже было отмечено в литературе, высказывания художника-повествователя и героя рассказа не во всем воспроизводят мнения самого писателя. В «Доме с мезонином», как и в других произведениях, Чехов намеренно не сливается до конца, не солидаризируется полностью ни с одним из действующих лиц. С другой стороны, нетрудно обнаружить ряд расхождений между социально-философской теорией художника и взглядами Толстого. За всем тем одинаково несомненным представляется и явное сочувствие Чехова повествователю (ведь история любви к Мисюсь — эпизод из жизни самого писателя), и поразительная близость — в важнейших пунктах — высказываний художника к высказываниям Толстого.

Конечно, широкую постановку социального вопроса Чехов совсем не должен был у кого бы то ни было «заимствовать»: в середине 90-х годов она повелительно диктовалась жизнью, реяла в воздухе. Однако в рассуждениях художника есть нечто, сразу выдающее их «вдохновителя»: главное место в них принадлежит мысли об обязательности физического труда для всех членов общества. С такой стороны подходил к решению проблемы социального неравенства именно Толстой.

Попытаемся сопоставить основные положения художника-повествователя «Дома с мезонином» с воззрениями Толстого, как они выражены в одном из важнейших его публицистических произведений — трактате «Так что же нам делать?» (1886).

Отправной пункт в рассуждениях художника — констатация непосильности, губительности того физического труда, которым переобременены при существующих условиях люди из народа. Именно на этом основании он относится с пренебрежением к теории «малых дел», проповедуемой Лидой Волчаниновой.

То же кладет во главу угла Толстой в своем трактате. Выход из положения художник видит в равномерном распределении между всеми — «богатыми и бедными» — тягот физического труда.

«— Мужичья грамотность, книжки с жалкими наставлениями и прибаутками и медицинские пункты не могут уменьшить ни невежества, ни смертности так же, как свет из ваших окон не может осветить этого громадного сада... Нужно освободить людей от тяжкого физического труда... Нужно облегчить их ярмо, дать им передышку... Возьмите на себя долю их труда. Если бы все мы, городские и деревенские жители, все без исключения, согласились поделить между собою труд, который затрачивается вообще человечеством на удовлетворение физических потребностей, то на каждого из нас, быть может, пришлось бы не более двух-трех часов в день...»¹ и т. д.

Мысль об обязательности физического труда для всех является идейным стержнем всего трактата Толстого. Он повторяет ее на разные лады — много раз.

В 38-й главе мы читаем: «обязанность... борьбы с природою для приобретения средств жизни всегда будет самой первой и несомненной из всех других обязанностей, потому что обязанность эта есть закон жизни...»²

В 23-й главе Толстой пишет: «Мы, в нашем искании исцеления от наших общественных болезней, ищем со всех сторон: и в правительственных, и в антиправительственных, и в научных, и в филантропических суевериях, и не видим того, что режет глаза всякому... Для того, кто точно искренне страдает страданиями окружающих его людей, есть самое ясное, простое и легкое средство, единственно возможное для исцеления окружающих его зол и для сознания законности своей жизни... не пользоваться трудами других — делать своими руками все, что можем делать...»³

Чеховский герой считает, что, равномерно распределить тяжелый физический труд, человечество главное внимание и силы уделит наукам и искусствам: «сколько свободного времени у нас остается в конце концов! Все мы сообща отдаем этот досуг наукам и искусствам. Как иногда мужики миром починают дорогу, так и все мы сообща, миром, искали бы правды и смысла жизни, и я уверен в этом — правда была бы открыта очень скоро»¹. При существующем же антагонистическом строе функции науки и искусства резко извращаются — они в конечном счете служат лишь эксплуататорской верхушке: «У ученых, писателей и художников кипит работа, по их милости удобства жизни растут с каждым днем, потребности тела множатся, между тем до правды еще далеко... При таких условиях жизнь художника не имеет смысла, и чем он талантливее, тем страннее и непонятнее его роль, так как на поверку выходит, что работает он для забавы хищного нечистоплотного животного, поддерживая существующий порядок. И я не хочу работать и не буду...»²

В трактате Толстого говорится:

«Люди науки и искусства могли бы сказать, что деятельность их полезна для народа только тогда, когда люди науки и искусства поставили бы себе целью служить народу так, как они теперь ставят себе целью служить правительствам и капиталистам...»³

«...Наука и искусство (в наше время) в нашем мире не есть вся та разумная деятельность всего без исключения человечества, выделяющего свои лучшие силы на служение науке и искусству, а деятельность маленького кружка людей, имеющего монополию этих занятий и называющего себя людьми науки и искусства и потому извративших самые понятия науки и искусства и потерявших смысл своего призвания и занятых только тем, чтобы забавлять и спасать от удручающей скуки свой маленький кружок дармоедов»⁴.

Художник из «Дома с мезонином» не делает, однако, из последнего своего тезиса тех далеко идущих выводов, на которые решается Толстой. Так, он не выдвигает требования, чтобы наука и искусство изменили все направ-

¹ А. П. Чехов, Полн. собр. соч. и писем, т. IX, стр. 97.

² Л. Н. Толстой, Полн. собр. соч., т. 25, М. 1937, стр. 381.

³ Там же, стр. 295.

¹ А. П. Чехов, Полн. собр. соч. и писем, т. IX, М. 1948, стр. 98.

² Там же.

³ Л. Н. Толстой, Полн. собр. соч., т. 25, 1937, стр. 356—357.

⁴ Там же, стр. 385.

ление своей деятельности, поставив себе целью непосредственное обслуживание труда и быта народных масс. Он имеет в виду, видимо, другое — приобщение народных масс к тому содержанию наук и искусств, которое свойственно им сейчас. В отличие от Толстого повествователь чеховского рассказа враг прикладного направления культуры: «Науки и искусства, когда они настоящие, стремятся не к временным, не к частным целям, а к вечному и общему... когда их пристегивают к нуждам и злобам дня, к аптечкам и библиотечкам, то они только осложняют, загромождают жизнь...»¹ Из своей концепции художник отнюдь не делает выводов, аналогичных толстовской теории опрощения.

С другой стороны, в рассуждениях чеховского художника критика существующего строя далеко не достигает толстовской четкости и резкости, о многом (может быть, по цензурным соображениям) говорится приглушенно, обиняками. С некоторыми эксцентрическими суждениями своего героя несомненно не согласился бы и сам Чехов (не говоря уже о Толстом). Попытка разрешить вопрос, как далеко простирается солидарность Чехова с позитивными предложениями его персонажа, вряд ли дала бы результаты. Но важно не это, а другое. После всего сказанного выше представляется несомненным, что в своем подходе к центральной проблеме антагонистического общественного строя Чехов черпал свой пафос у Толстого — в его максимализме, в его широкой и глубокой постановке вопроса, в его подлинно народных критериях и оценках.

9

«Дом с мезонином» в некоторых отношениях является как бы предварительным эскизом к «Моей жизни». В ней мы сталкиваемся с той же социальной концепцией, но в гораздо более развернутом и конкретном виде. В «Доме с мезонином» рассуждения художника — публицистический «привесок» к новеллистическому сюжету. В «Моей жизни» социальная проблематика несравненно теснее связана с сюжетной канвой произведения. Эта

¹ А. П. Чехов, Полн. собр. соч. и писем, т. IX, М. 1918, стр. 98.

написанная в 1896 году повесть Чехова с занимающей нас точки зрения имеет наибольший интерес. В ней разнообразные, перекрещивающиеся линии притяжения зрелого Чехова к Толстому и отталкивания от него предстали наиболее полно.

Современная Чехову критика — критика Скабичевских, Протопоповых и им подобных — обошла повесть при ее появлении полным молчанием¹. Это в конце концов не удивительно. Удивительно другое — что в нашем советском литературоведении она до сих пор не оценена по достоинству². Из многообразного содержания «Моей жизни» особым вниманием и сейчас пользуются лишь те места, в которых усматривают осуждение толстовской теории опрощения, как будто это главное в произведении.

Между тем по широте социального охвата, идейной значительности, глубине критики всего старого строя «Моя жизнь» — одна из вершин повествовательной прозы Чехова.

«Вчера я прочитал «Мою жизнь». — Роскошь», — читаем мы в письме А. М. Горького к Е. Пешковой от марта 1899 года³.

«Моя жизнь» — вот это тронуло меня и произвело глубокое впечатление, — писал в 1897 году Чехову И. Репин. — ...Какая простота, сила, неожиданность; этот серый, обыденный тон, это прозаическое мирозерцание являются в таком новом увлекательном освещении, так близка душе делается вся эта история! Действующие лица становятся родными, и их жаль до слез... И как это ново! Как оригинально! А какой язык! — Библия...»⁴

«Моя жизнь», начатая в феврале 1896 года, во многом столь явственно перекликается с гениальным творением Толстого, что условно может быть названа чеховским «Воскресением». По замыслу автора, это такой же беспощадный обвинительный приговор всей дворянско-буржуазной верхушке царской России. Напомним, что во

¹ Впрочем, несколько позднее, в № 6 «Книжек Недели» за 1898 г. (Я. Абрамов, «Наша жизнь в произведениях Чехова») и в № 12 «Мира божьего» за 1897 г., повесть Чехова получила очень высокую оценку.

² Начало переосценке повести положил в 1948 г. А. Скафтымов своей уже упомянутой нами выше статьей.

³ М. Горький и А. Чехов. Сборник материалов, Гослитиздат, М. 1951, стр. 146.

⁴ А. П. Чехов, Полн. собр. соч. и писем, т. IX, М. 1948, стр. 577.

время пребывания в Ясной Поляне Чехов прослушал и очень одобрил раннюю редакцию «Воскресения», что о «Воскресении» заходила речь и при второй встрече с Толстым. Не лишенным значения нам представляется и следующий факт. Чехов, как известно, никогда никому (даже близким друзьям) не читал своих произведений до выхода их в свет. Это был один из его нерушимых творческих принципов. Поступать так он советовал и своим корреспондентам-писателям. Повесть же «Моя жизнь» он хотел прочесть Толстому до ее появления в печати. Летом 1896 года Чехов усиленно собирался в Ясную Поляну, но поездка его не состоялась. В Ясной Поляне его ждали. Сообщая Т. Л. Толстой 9 ноября 1896 года, почему он не приехал, Чехов, между прочим, писал: «К концу лета у меня была готова повесть «Моя жизнь»... и я рассчитывал привести ее с собой в Ясную Поляну, в корректурных листах. Теперь она печатается в «Приложениях Нивы»¹.

«Моя жизнь» — самое широкое литературное полотно у Чехова. Гривно, уничтожающе изображает писатель представителей вырождающегося дворянства (Полознев-отец, Ажогин, Чепраковы). Во главу угла положено противоречие между благообразной внешней стороной жизни господ и ее непривлекательной внутренней сущностью, между тем, чем хотят казаться господа, и тем, что они собой представляют на самом деле. Резко отрицательными чертами обрисованы и новые хозяева жизни, капиталистические дельцы (в лице инженера Должикова), а также городское мещанство (в лице мясника Прокофия). Много внимания, как всегда у Чехова, уделено интеллигенции — выходцам из тех же привилегированных слоев (Маша Должикова, доктор Благово). На чеховском полотне нашлось место и для крестьянства и для городских мастеровых. И во всей этой широкой картине жизни, среди многолюдной и разнообразной толпы действующих лиц, с наибольшей теплотой и сочувствием обрисованы два типично толстовских персонажа: дворянин, ушедший из своей среды, — Мисаил Полознев и простой человек из народа — мастеровой Редька.

Мисаил Полознев — социальный отщепенец, правдоискатель, которому гадко и страшно стало жить среди

«приличного общества». Подобно таким толстовским героям, как, например, Николай Левин и Федор Протасов, Полознев навсегда порывает с дворянско-помещичьим кругом, с его идеологией и образом жизни. Проводя подобную параллель, мы, разумеется, имеем в виду не сходство индивидуально-психологических черт, а нечто более важное: сходство идейной функции этих персонажей. И по своим социально-этическим взглядам Полознев очень близок к положительным героям «позднего» Толстого. Правда, его обращение к физическому труду вызвано материальными соображениями (в этом — одно из отличий его от толстовских героев). Но Чехов не раз дает понять читателю, что главное все-таки не в этом, а в органической чужеродности Мисаила всему кругу таких, как его собственный отец, Ажогин и т. д.

Малыш Редька, внешне невзрачный, ничем не примечательный, воплощает собой народные воззрения на справедливость и правду, ежеминутно нарушаемые представителями привилегированных классов. У него не сходит с уст поговорка: «Тя ест траву, ржа — железо, а лжа — душу»¹. Его идейно-композиционная роль напоминает ту, которую играет Аким во «Власти тьмы». Прямо в глаза укоряет он злых и неправедных (например, доктора Благово): «Горе, горе сытым, горе сильным, горе богатым, горе работодателям! Не выдать им царствия небесного!»²

Социально-этический пафос, которым овеяно от начала до конца «Воскресение», целиком господствует и в «Моей жизни». Выразителем его является Мисаил Полознев: «Нас, простых людей, обманывали, обсчитывали... оскорбляли и обращались с нами крайне грубо... В лавках нам, рабочим, сбывали тухлое мясо, леглую муку и спитой чай; в церкви нас толкала полиция, в больницах нас обирали фельдшера и сиделки... на почте самый маленький чиновник считал себя вправе обращаться с нами, как с животными... Но главное, что больше всего поражало меня в моем новом положении, это совершенное отсутствие справедливости, именно то самое, что у народа определяется словами «бога забыли»³.

¹ А. П. Чехов, Полн. собр. соч. и писем, т. IX, стр. 126.

² Там же, стр. 183.

³ Там же, стр. 135—136. (Подчеркнуто мною. — Ф. Е.)

¹ А. П. Чехов, Полн. собр. соч. и писем, т. XVI, стр. 387.

Своему чопорному, бездушному отцу — охранителю дворянских привилегий и традиций, Мисаил гневно бросает в конце повести: «Во всем городе ни одного честного человека! Эти ваши дома (отец Полознева — городской архитектор. — Ф. Е.) — проклятые гнезда, в которых сжигают со света матерей, дочерей, мучают детей... Вы душили в зародыше все мало-мальски живое и яркое! Город лавочников, трактирщиков, канцеляристов, ханжей, ненужный, бесполезный город»¹. Эгоизм, бездушие, жестокость людей из привилегированной верхушки — один из лейтмотивов и толстовского романа и чеховской повести.

В «Моей жизни» есть страницы, где Чехов сумел подняться до подлинно толстовской высоты в гневно, резко осуждении дореволюционного государственного строя, основанного на лжи, крови и насилии. Некоторые эпизоды и образы «Моей жизни» своей смелостью и обличительной силой как бы предваряют отдельные сцены «Воскресения» — не повести, прослушанной Чеховым в 1895 году, но романа, завершенного Толстым в 1899 году. Не случайно то обстоятельство, что ни в каком другом произведении Чехова царская цензура не произвела таких больших изъятий, как в «Моей жизни». «Я чувствую к ней (повести. — Ф. Е.) отвращение, так как по ней проехала цензура и многие места стали неузнаваемы», — сообщал писатель в ранее цитированном письме от 9 ноября 1896 года Т. Л. Толстой². «А что сделала цензура из моей повести! Это ужас, ужас! Конец повести обратился в пустыню», — сокрушался Чехов в письме к Суворину от 8 ноября 1896 года³. Из-за цензурных искажений об авторских намерениях порой можно только догадываться, но и то, что удается с несомненностью прочесть между строк, достаточно показательно.

В главе VIII рассказывается о вызове Мисаила Полознева к губернатору и о «внушении», сделанном ему губернатором за «предосудительное» для дворянина поведение (занятие физическим трудом). Губернатор, военный генерал, в изображении Чехова не страшен, а скорее смешон и отвлечен — своим нелепым, дурацким

«внушением», своим «дряблым, «попошенным» лицом, своим ртом, раскрывающимся «широко и кругло, как буква О». Разговаривает с Полозным представитель власти «тихо», даже «почтительно». Но этой сцене Чехов считал нужным предпослать две других, по общему ходу повествования как будто совершенно излишних: перед явкой к губернатору Полознев зачем-то едет ночью с мясником Прокофием на городскую бойню и затем отправляется с ним в мясную лавку. Сюжетно эти сцены не нужны, но в идейном отношении они очень важны: детали их подобраны так, что они невольно ассоциируются в сознании читателя с предстоящей утром явкой по вызову и явственно намекают на главные — палаческие функции носителя власти.

«— Вас у губернатора, должно, наказывать будут, — говорил мне дорогой Прокофий...» Вслед за этим следует описание посещения бойни, завершающееся такими стрихамами: «Пахло трупами и навозом... мне в потемках казалось, что я хожу по лужам крови...» Полознев приходит затем в лавку. В ней стоит «Прокофий с топором в руке, в белом, обрызганном кровью фартуке...» Кухарки, пришедшие за мясом, называют его катом. «Я пробыл в мясной лавке все утро, и когда, наконец, пошел к губернатору, то от моей шубы пахло мясом и кровью»¹. Кровь и топор — неотъемлемые атрибуты царизма.

Образ бойни вырастает под пером Чехова в злоеший реалистический символ не только губернаторской власти и царизма в целом, но и всего уклада жизни под эгидой самодержавия. В конце повести (недаром цензура превратила его в «пустыню») душевный кризис, внутренний бунт Мисаила против людей и порядков, сделавших несчастными его и сестру, изображен так: «И вдруг что-то случилось с моим сознанием; точно мне приснилось, будто зимой, ночью, я стою в бойне на дворе... я сделал над собой усилие и протер глаза, и тотчас же мне представилось, будто я иду к губернатору для объяснений. Ничего подобного не было со мной ни раньше, ни потом, и эти странные воспоминания, похожие на сон, я объясняю переутомлением нервов. Я переживал и бойню и объяснение с губернатором и в то же время смутно сознавал, что этого нет на самом деле...»²

¹ А. П. Чехов, Полн. собр. соч. и писем, т. IX, стр. 188.

² Там же, т. XVI, стр. 387.

³ Там же, стр. 385.

¹ А. П. Чехов, Полн. собр. соч. и писем, т. IX, стр. 144.

² Там же, стр. 185.

Перейдем теперь к социальной философии Мисаила Полознева. Она является, в основном, продолжением и развитием взглядов художника из «Дома с мезонином». Так, Полознев заявляет доктору Благово: «...Нужно, чтобы сильные не поработали слабых, чтобы меньшинство не было для большинства паразитом или насосом, высасывающим из него хронически лучшие соки, то есть нужно, чтобы все без исключения — и сильные и слабые богатые и бедные, равномерно участвовали в борьбе за существование, каждый сам за себя, а в этом отношении нет лучшего нивелирующего средства, как физический труд, в качестве общей, для всех обязательной повинности»¹.

Дальше мы читаем: «Рядом с процессом постепенного развития идей гуманных наблюдается и постепенный рост идей иного рода. Крепостного права нет, зато растет капитализм. И в самый разгар освободительных идей, так же, как во времена Батые, большинство кормит, одевает и защищает меньшинство, оставаясь само голодным, раздетым и незащищенным... У нас идеи — идеями, но если бы теперь, в конце XIX века, можно было взвалить на рабочих еще также наши самые неприятные физиологические отправления, то мы взвалили бы, и потом, конечно, говорили бы в свое оправдание, что если, мол, лучшие люди, мыслители и великие ученые станут тратить свое золотое время на эти отправления, то прогрессу может угрожать серьезная опасность»².

Нет надобности доказывать, сколь близки эти высказывания к воззрениям Толстого, в частности к основным положениям трактата «Так что же нам делать?». Особенно последняя мысль (о «великих ученых», которые не прочь бы, со ссылкой на «прогресс», возложить на рабочих и «самые неприятные физиологические отправления») — настолько толстовская, что кажется перекочевавшей к Чехову со страниц Толстого.

Итак, на повести Чехова лежит явственная печать толстовского влияния, влияния сильных сторон мировоззрения Толстого. Активным глашатаем их является в «Моей жизни» Мисаил Полознев. Есть ли он с точки зрения Чехова положительный персонаж, сочувствует ли

ему автор? Вне всякого сомнения — да. Об этом говорит вся логика образов и сюжетных ситуаций. Всякий внимательный читатель скажет, что Чехов разделяет полонезскую критику старого общественного строя, что пафос произведения и заключается в сочувствии и сострадании к таким, как Полознев, его сестра, Редька. В этом убеждает весь ход и исход повествования.

Но, как и в других случаях, нельзя отождествлять голос чеховского персонажа с голосом самого Чехова: писатель сохраняет свою «независимость» и в отношении выводимых им положительных героев. Вспомним Громова («Палата № 6»), Астрова и Войничского («Дядя Ваня»), трех сестер и Вершинина («Три сестры»). Разве Чехов не критикует их за многое?

И с Мисаилом Полозневым Чехов — как явствует из той же логики образов и сюжетных ситуаций — не во всем солидарен. Но осуждает он своего героя не за переход к физическому труду вообще, как это большей частью утверждают. При таком толковании образ Мисаила двоится, становится непонятным. Ведь разрыв со своим классом и приобщение к жизни трудового народа представлены в произведении как явно положительные черты Мисаила, привлекающие к нему уважение и сочувствие. Неужели в споре Мисаила с его отцом о допустимости физического труда Чехов на стороне архитектора Полознева — воинствующего защитника «белой кости»? Думать так — значило бы ставить под сомнение глубокий демократизм Чехова. С другой стороны, мотивы обращения Мисаила к физическому труду вовсе не совпадают с толстовской теорией «опрошения», антипатичной Чехову. Это обращение вызвано, с одной стороны, материальной необходимостью, с другой — отталкиванием от окружающей дворянской среды.

Чехов действительно — как это отмечалось многократно — критикует кое-что в социальной практике своего героя, но иное: попытку осесть на земле и заняться сельскохозяйственным трудом. Как известно, теорию опрошения толстовцы пытались практически реализовать именно таким образом. Сельскохозяйственные колонии интеллигентов — известный факт в истории толстовства. Чем-то вроде попытки создать такую колонию и представлено в «Моей жизни» поселение Полознева с женой в деревне, стремление его приобщиться к крестьянскому

¹ А. П. Чехов, Полн. собр. соч. и писем, т. IX, стр. 131.

² Там же, стр. 132—133.

труду. Poleмика с толстовской теорией опрощения, действительно имеющаяся в повести, связана именно с этим эпизодом. Чехов демонстрирует крах затем Полознева. Приговор ей выносятся устами жены Полознева Маши: «Мы много работали, много думали, мы стали лучше от этого, — честь нам и слава, — мы преуспели в личном совершенстве; но эти наши успехи имели ли заметное влияние на окружающую жизнь, принесли ли пользу хотя кому-нибудь? Нет. Невежество, физическая грязь, пьянство, поразительно высокая детская смертность, — все осталось, как и было... Очевидно, мы работали только для себя и широко мыслили только для себя...»¹ Полознев не находит, что возразить своей жене. В эту тираду Маши Чехов вложил свое безоговорочное осуждение не только теории опрощения, но и всей позитивной доктрины «толстовства» в целом, теории «самоусовершенствования» и т. д.

Нельзя не заметить радикального расхождения с Толстым и в оценке крестьянства. Рисуемые в повести картины крестьянской жизни довольно безотрадны (пьянство и т. д.), причем отрицательные черты крестьянского быта объяснены не отходом от патриархальных устоев, вредным влиянием города, помещичьей эксплуатацией — как у Толстого, но прежде всего отсталостью, бескультурьем. Для того чтобы учесть всю глубину расхождения между обоими писателями в данном пункте, достаточно сравнить благообразную фигуру толстовского Никиты («Хозяин и работник») с фигурами чеховских крестьян в «Моей жизни» (а затем в «Мужиках» и «Новой даче»). В связи с этим повисает в воздухе та характеристика крестьянства, которая дается в «Моей жизни» от имени Мисаила Полознева: «он (мужик. — Ф. Е.) верит, что главное на земле — правда, и что спасение его и всего народа в одной лишь правде, и потому больше всего на свете он любит справедливость»². Это — скорее толстовская, чем чеховская, формулировка: это одно из тех суждений чеховского героя, которые вряд ли разделяет сам Чехов.

Весьма своеобразны фигуры представителей интеллигенции — доктора Благово и Маши Должиковой. В них

отразилось отношение Чехова к науке и искусству. В моральном отношении и тот и другая не могут вызвать симпатии: они — виновники страданий Мисаила и Клеопатры Полозневых. В уста Благово и Должиковой вложены тем не менее некоторые сентенции, с которыми Чехов не мог не быть солидарен. Когда Благово провозглашает здравицу в честь науки («счастье будущего человечества только в знании. Пью за науку!»¹), когда Должикова с воодушевлением говорит об искусстве («Почему искусство, например музыка, так живуче, так популярно и так сильно на самом деле? А потому, что музыкант или певец действует сразу на тысячи. Милое, милое искусство!.. Искусство дает крылья и уносит далеко-далеко!»²), мы безошибочно узнаем голос самого Чехова. И Должикова и Благово наделены внешним обаянием, она — одаренная певица, он — талантливый ученый. Во всем этом сказались, однако, не симпатия Чехова к своим персонажам и к их социальной практике, а лишь великий пиетет перед теми началами, которые они собой воплощают — перед наукой и искусством. Этого великого пиетета Толстой, как известно, не разделял. Но Чехов в «Моей жизни» явно идет навстречу воззрениям Толстого об антиобщественном, антинародном направлении современной буржуазной культуры, продолжая и развивая то, что раньше было вложено им в уста художника из «Дома с мезонином». Значение вышних, непререкаемых ценностей имели, в глазах Чехова, лишь та культура, тот прогресс, оборотная сторона которых — любовь к людям, — которые со временем осчастливят человечество. Вспомним соответствующие высказывания его в письме к Суворину от 27 марта 1894 года и в «Скудной истории», на которые мы уже не раз ссылались, а также только что приведенные слова Благово. Просветитель в лучшем смысле этого слова, Чехов считал первейшей задачей — нести свет культуры в народные массы. В лице же Должиковой и Благово Чехов изобразил тех выходцев из дворянско-буржуазной интеллигенции, которым эта задача совершенно чужда, в глазах которых наука и искусство представляют самодовольный интерес. Должикова и Благово — столь

¹ А. П. Чехов, Полн. собр. соч. и писем, т. IX, стр. 169.

² Там же, стр. 167.

¹ А. П. Чехов, Полн. собр. соч. и писем, т. IX, стр. 141.

² Там же, стр. 170.

«блестящие», столь «обаятельные» — питают отвращение к темной крестьянской среде: «Он (Благово. — Ф. Е.) вместе с Машей ненавидел мужиков»¹. Чехов разделяет негодование Мисаила Полознева по поводу разговоров его жены о «пьянстве и обманах» мужиков: «Меня приводила в недоумение и поражала ее забывчивость. Как могла она забыть, что ее отец, инженер, тоже пил, много пил, и что деньги, на которые была куплена Дубечня (имение Должикова. — Ф. Е.), были приобретены путем целого ряда наглых, бессовестных обманов? Как могла она забыть?..»² Чехов далек от идеализированной, «толстовской» оценки крестьянства, вложенной в уста Мисаила Полознева. Но неизмеримо дальше он от барского презрения к народу, проповедуемого Должиновой. Отчетливо видя темноту и отсталость крестьянских масс, Чехов относится к ним с величайшим сочувствием. Это нашло отражение не только в «Моей жизни», но и в «Мужиках».

Полная оторванность Благово и Должиновой от народа получает сюжетное воплощение в том, что оба они покидают провинцию, где культурные силы так нужны, а Должикова оставляет вообще свою родину, уезжая в Америку.

Чуть ли не иллюстрацией к положениям трактата «Так что же нам делать?» о чужеродности народным интересам той «культуры», того «прогресса», с которыми носятся господствующие классы, выглядит следующее заявление доктора Благово Мисаилу Полозневу:

«Я иду по лестнице, которая называется прогрессом, цивилизацией, культурой, иду и иду, не зная определенно, куда иду, но, право, ради одной этой чудесной лестницы стоит жить: а вы знаете, ради чего живете, — ради того, чтобы одни не поработали других, чтобы художник и тот, кто растирает для него краски, обедали одинаково. Но ведь это мещанская, кухонная, серая сторона жизни, и для нее одной жить — неужели непротивно? Если одни насекомые поработают других, то и черт с ними, пусть съедают друг друга! Не о них нам надо думать, — ведь они все равно помрут и сплывут, как ни спасайте их

от рабства, — надо думать о том великом иксе, который ожидает все человечество в отдаленном будущем»¹.

Культура, прогресс для Чехова — великие слова. Но нужно ли доказывать, что Чехову глубоко враждебны «культура для культуры», «прогресс для прогресса», за которые ратует Благово, с барским пренебрежением отмечающий вопросы об эксплуатации, о положении трудящихся масс. Таким образом, по сравнению со «Скудной историей» Чехов в «Моей жизни» значительно уточнил свои взгляды на современную культуру и ее носителей, сделав несомненный шаг навстречу Толстому в оценке носителей буржуазной культуры.

После всего сказанного предоставляем нашим читателям судить, насколько правильна традиционная оценка «Моей жизни», видящая в ней антитолстовское произведение и сводящая ее смысл к критике теории опрощения.

В 1896—1904 годах творческая перекличка Чехова с Толстым ослабевает. Причину этого следует, на наш взгляд, искать не в уменьшении интереса к Толстому (доказательством противоположного может служить письмо к Меньшикову от 28 января 1900 г.), а в жанрово-тематическом содержании творчества Чехова в последний период его жизни. На первое место выдвигается драматургия, основное внимание писатель уделяет изображению интеллигенции и деревенской тематике. Специфические особенности чеховских пьес делали их малопригодными для раскрытия больших социальных коллизий в духе Толстого. В оценке крестьянской жизни Чехов, как мы видели, кардинально расходился с Толстым. Чеховская трактовка темы пошлости (главное содержание произведений об интеллигенции) сильно отличалась от толстовской, развернутой в «Смерти Ивана Ильича». Больших повестей с широким социальным охватом вроде «Моей жизни» Чехов уже не пишет.

Все же и в эти годы толстовские идеи и образы порой проскальзывают у Чехова. Чем-то толстовским веет, на наш взгляд, от рассказа «По делам службы» (1899).

¹ А. П. Чехов, Полн. собр. соч. и писем, т. IX, стр. 164.

² Там же, стр. 167.

¹ А. П. Чехов, Полн. собр. соч. и писем, т. IX стр. 132.

Суть рассказа в следующем. Встреча с мужиком-сотским — маленьким, скромным тружеником, считающим, что «на свете неправдой не проживешь», заставляет следователя Лыжина, мечтающего о легкой и приятной жизни в столицах, по-новому осмыслить свою работу в провинциальной глуши, осознать, что «мужицкое горе лежит и на его совести». Толстовских персонажей напоминают и Лиза Ляпкина, болезненно переживающая свой «грех» владения крупным промышленным предприятием («Случай из практики», 1898) и чистая душой, кроткая Липа («В овраге», 1900).

Кое-кто усматривал антитолстовский выпад в следующих строках чеховского «Крыжовника» (1898): «Принято говорить, что человеку нужно только три аршина земли. Но ведь три аршина пужны трупу, а не человеку. И говорят также теперь, что если наша интеллигенция имеет тяготение к земле и стремится в усадьбы, то это хорошо. Но ведь эти усадьбы те же три аршина земли. Уходить из города, от борьбы, от житейского шума, уходить и прятаться у себя в усадьбе — это не жизнь, это эгоизм, лень»¹ и т. д. При этом имеются в виду те «три аршина земли», о которых говорится у Толстого в «Много ли человеку земли надо». Однако, как разъяснил уже А. Скафтымов², тут налицо явное недоразумение, речь идет о чисто случайном, чисто словесном совпадении. По существу Толстой — не меньший враг собственнического свинства, «трех аршин земли» и «собственных усадеб», чем автор «Крыжовника».

* * *

Обзор творчества Чехова под интересующим нас углом зрения (не претендующий на исчерпывающую полноту), думается, наглядно демонстрирует, насколько несостоятельна традиционная трактовка темы «Толстой и Чехов». То, в чем усматривалось влияние «толстовщины» на Чехова (пять-шесть рассказов 1886—1887 гг.), с одной стороны, лишь условно является таковым, а с другой,

буквально тонет в массе более важного материала, свидетельствующего о совершенно ином — об идейно-творческих связях Чехова с сильными, активными сторонами мировоззрения Толстого. Не постепенное «излечение» Чехова от «язвы толстовства», а растущее (вплоть до 1896 г.) влияние на Чехова Толстого — «страстного обличителя, великого критика», — вот о чем говорят рассмотренные нами повести и рассказы. Идейно-художественная перекличка Чехова с Толстым охватывает широкий круг произведений и затрагивает самые разнообразные темы. Представляется несомненным, что творческую мысль Чехова в той или иной мере оплодотворили и «Война и мир», и «Анна Каренина», и «Смерть Ивана Ильича», и первые наброски «Воскресения», и «Хозяин и работник», и народные рассказы, что он отождествлял на «Так что же нам делать?», на «Религию и нравственность», на некоторые писания Толстого о голоде 1891 года и т. д. В 80-е годы (до «Скудной истории») перекличка Чехова с Толстым шла, в основном, вокруг идей толстовской «морали» в широком смысле этого слова, вокруг таких вопросов, как непротивление злу насилием, деятельная любовь к ближним, протест против общественной лжи и фальши, моральное осуждение суда, моральное превосходство детей над взрослыми и т. д. Окончательная переоценка Чеховым слабых сторон учения Толстого, критика их и наиболее активное приобщение к великому толстовскому «разуму» датируются 1892—1896 годами. Но уже со «Скудной истории» (1889) чеховская перекличка с Толстым углубляется и расширяется, захватывая важнейшие мировоззренческие и общественно-политические проблемы. Вопрос о цели и смысле человеческого существования; религия и нравственность, религия и наука в их взаимных отношениях; теория «опрощения»; оценка крестьянства и оценка интеллигенции; роль искусства; «народная правда» и господствующие классы; основная социальная коллизия antagonистического строя, эксплуататорская сущность всего старого общественного уклада; кровавый царизм и его внутреннее существо; общественно-психологические черты дворянства — таков неполный круг тем, в которых обнаруживалась идейно-художественная близость или идейное отталкивание Чехова от Толстого.

¹ А. П. Чехов, Полн. собр. соч. и писем, т. IX, стр. 269.

² См. уже цитированные «Ученые записки», стр. 88—89.

Двух великих писателей многое разделяло, и, конечно, бессмысленной была бы попытка представить Чехова в 80-е или в 90-е годы «учеником», «последователем» Толстого в идейном или в художественном отношении. Об основных линиях их идейных расхождений мы много говорили выше. В корне различной прежде всего была их оценка крестьянства и его идеологии — несмотря на весь демократизм Чехова и глубокое сочувствие его трудовым крестьянским массам. Весьма показательно, что в произведениях Чехова носителем народных начал, народной правды (персонаж, играющий важную роль не только у Толстого, но и у Чехова) выступает большей частью не человек от земли, не хлебороб, как у Толстого. Это — маляр Редька («Моя жизнь»), крепостной стolar Бутыга («Жена»), плотник Костыль («В овраге»).

С неодинаковым подходом к крестьянству и его идеологии тесно связано различное отношение к религии, науке и искусству, к интеллигенции, к теории «опрощения» и т. д. Если в толстовском подходе ко всему этому сказывался непосредственный глашатай идей и настроений патриархального крестьянства, то в чеховском — разночинец-демократ, передовой интеллигент — просветитель конца XIX века (оставшийся, однако, в стороне от марксизма и рабочего движения). В отличие от Толстого, сознание Чехова не обременял груз позитивных религиозных концепций. Однако Толстой был решительнее и последовательнее Чехова во многих своих критических обобщениях: его пером непосредственно двигали «горы ненависти, злобы и отчаянной решимости»¹, накопившиеся в сознании крестьянских масс.

Но очень многое и сближало обоих писателей, особенно в 90-е годы: решительное осуждение старого общественного и старого государственного строя; широкая постановка социальной проблемы; резкая критика дворянства, буржуазии, бюрократии; стремление противопоставить «народную правду» понятиям и укладу жизни привилегированной верхушки; смелое изображение господствующей в обществе лжи и фальши; проникнутое высо-

ким этическим пафосом сознание того, что «дальше так жить нельзя», и т. д. и т. д.

Не нуждается в доказательствах, что именно это — общее у Толстого и Чехова, роднившее их между собой, было одновременно самым прогрессивным в творчестве обоих, самым важным в драгоценном литературном наследии как одного, так и другого.

Белинский писал: «Влияние великого поэта заметно на других поэтах не в том, что его поэзия отражается в них, а в том, что она возбуждает в них собственные их силы: так, солнечный луч, озарив землю, не сообщает ей своей силы, а только возбуждает заключенную в ней силу». Эти слова разъясняют самую сущность «влияния» Толстого на Чехова.

Критиком старого общественного строя Чехов стал независимо от Толстого, как независимо от Толстого, под влиянием внушений самой жизни появились в его творчестве идеи народности и народной правды. Но в своем движении вперед по пути все более широких критических обобщений, по пути все более четкой и резкой постановки социальных проблем Чехов во многом шел за Толстым, опирался на Толстого. Не случайно те произведения, в которых особенно ярко проявился творческий рост Чехова в этих направлениях, отмечены печатью несомненного воздействия толстовских идей и образов. Доказательством может служить, мы полагаем, то, что сказано нами выше о «Скудной истории», «Жене», «Доме с мезонином», «Моей жизни». В этом и заключалось, главным образом, глубоко плодотворное и положительное влияние Толстого на Чехова.

Громадна и почетна роль обоих — и Толстого и Чехова — в возбуждении народного недовольства, в идейном воспитании революционеров конца XIX — начала XX века.

М. И. Калинин говорил Ф. Гладкову: «У нас были любимые герои, любимые писатели, на которых мы смотрели, как на учителей жизни. Это были властители дум. Взять хотя бы таких людей, как Чернышевский, Салтыков-Щедрин, а потом наши современники — Короленко, Лев Толстой с его критическим отношением к действительности, дальше — Чехов, который ободрял

¹ В. И. Ленин, Сочинения, т. 15, стр. 183.

нас, вселял непримиримую ненависть к деспотизму, к полицейщине»¹.

В этом авторитетном свидетельстве о «властителях» дум славной когорты революционеров-ленинцев имена Толстого и Чехова как великих обличителей старого строя с полным основанием поставлены рядом.

¹ Ф. Гладков, Встречи, «Литературная газета», 1946, № 24.